
Наталия
Ильина
ИНЫМИ ГЛАЗАМИ
[Очерки шанхайской жизни]



Salamandra P.V.V.

Наталия Ильина

ИНЫМИ ГЛАЗАМИ

(Очерки шанхайской жизни)

Salamandra P.V.V.

ИЛЬИНА Н. И.

Иными глазами: (Очерки шанхайской жизни). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 124 с., илл. – PDF.

В творческом наследии писательницы Н. И. Ильиной (1914-1994) – пародии и сатирические миниатюры, литературно-критические статьи и завоевавшие широкую известность воспоминания и беллетристические произведения о жизни русских эмигрантов в Китае.

Н. И. Ильина прожила в Китае 27 лет, и до возвращения в СССР славу ей составили фельетоны – меткие и язвительные, проникнутые тонким юмором, горькие и точные в деталях картинки быта и нравов «русского» Харбина и Шанхая.

В 1940-х гг. в фельетонах Ильиной появилась новая нота: просоветские настроения и иллюзии в отношении советской жизни, разделявшиеся многими «русскими китайцами». И все же в них сохранился живой дух места и эпохи – тем более что, по словам автора, «рассказы эти не являются выдумкой. Каждый из них взят из жизни, каждый персонаж зарисован с натуры и почти каждый рассказ отражает наш быт».

«Очерки шанхайской жизни» были собраны в книге «Иными глазами»; напечатанная в Шанхае в 1946 г. издательством «Эпоха», книга с тех пор не переиздавалась и давно стала библиографической редкостью. Настоящая публикация восполняет данный пробел, полностью воспроизводя это ценное в культурно-историческом отношении собрание в сопровождении иллюстраций, взятых из издания 1946 г.

наталия
ильина

чужими
глазами

ИНЫМИ ГЛАЗАМИ

Очерки шанхайской жизни

ПРЕДИСЛОВИЕ

В маленьком превосходном рассказе Алексея Толстого «Золотой мираж» (опубликованном еще в 1924 году) говорится о русском эмигранте, жившем в Нью-Йорке жизнью конторского служащего, пытавшегося «утвердить свою личность» в бессмысленной и никчемной толкотне этого суматошного чужого города. Внезапно он понимает, что «не затем его мать родила», чтобы изо всех сил помогать хозяину выколачивать деньги. В его мировоззрении происходит перелом, бросающий его на единственно правильный путь: «Не хочу всей этой бессмыслицы, не принимаю! Утверждение личности? Обман, шарлатанство, мираж! Я не сумасшедший. Назад домой, на родину!»

Аналогичный перелом переживаем здесь и мы. Наступает однажды день, когда ясно понимаешь бессмысленность и никчемность нашего суматошного заграничного существования, единственная цель которого — нажива, единственный результат которого — смерть души.

День за днем незаметно идет наша жизнь, в которой мы все время видим вокруг себя милых и уютных толстяков, занимающихся самой циничной спекуляцией, дам, почти открыто торгующих своими дочерьми, молодых людей, утверждающих, сплевывая, что «деньги это все!» И постепенно перестаем ощущать удушливую атмосферу этого города, она начинает казаться вполне естественной.

Но каким должен показаться наш город новому, свежему человеку, взглянувшему на нашу обстановку не привычным взглядом старожила, а иными глазами?

«Здесь свой бог, свой идеал. Во имя его живет город-торговец, город-спекулянт, и множество его жителей озабочено только одним: как бы повыгоднее продать товар, жену, честь, имя и подешевле купить сырье, дом, службу, как бы получше одеться, получить лучшее место, большую плату, выгодную невесту, новые деньги.

...Здесь была веселая жизнь и война в этом городе не ночевала. Нарядно одетые люди за столиками кафе, коммерсанты и дельцы, похожие на сошедшие со старых плакатов фигуры буржуев: цепочка через все огромное чрево, не вмещающееся между коленями, свисающие щеки, маленькие глаза. Стандартно красивые женщины, тщательно выделанные лица, обрамленные хитроумными прическами и поражающие темно-красным выворотом губ, мода предписывает нынче иметь грешные рты...»

В нескольких словах — картинка Шанхая!

Но не о Шанхае пишет советский журналист Леонид Соболев в прекрасной, волнующей своей статье «Дорогами побед». Он описывает там румынскую столицу Бухарест, куда он попал военным корреспондентом вместе с Красной Армией.

Шанхай, следовательно, не является каким-нибудь особым городом, совершенно необыкновенным и на другие города «старого мира» не похожим. И все же Шанхай недаром прозван «раем авантюристов»: он является как бы увеличительным стеклом, под которым обычные черты

заграничной, чуждой нам, русским, жизни, — принимают особенно уродливые, обостренные формы.

Да, правда, многие из нас живут в атмосфере относительного материального благополучия! Но какой ценой мы за это благополучие платим? Об этом пора задуматься!

Нам говорят: человеческая природа всегда и везде одинакова. Это верно. Но есть обстановка, развивающая худшие черты этой природы. И есть иная обстановка, вызывающая к жизни лучшие, благороднейшие черты человека.

Нам говорят: в жизни выживает сильнейший. Кто же является «сильнейшим» в нашей обстановке? Думаю, что ответ на этот вопрос дан в книжке предлагаемых рассказов. При этом хочу особенно подчеркнуть, что рассказы эти не являются выдумкой. Каждый из них взят из жизни, каждый персонаж зарисован с натуры и почти каждый рассказ отражает наш быт.

Литература всегда является отражением окружающей жизни. Было время, когда литература нашей родины клеймила трусливость, шкурничество, мелкий эгоизм обывателя. То было время Зощенко, но это время миновало. Теперь в советской литературе громко звучат иные мотивы: мотивы героизма, жертвенной любви к родине, мужества, силы духа. Очевидно, «обывательщина» на нашей родине теперь не цветет. Мелкие эгоисты, интересующиеся лишь своим крошечным мирком, подхалимы, тупые бюрократы — имеются, конечно, и в СССР, но влияния на жизнь они не оказывают. Их слабый писк тонет в хоре иных голосов.

В нашей же шанхайской обстановке они все еще играют первую скрипку. Они задают тон. По ним равняются. Самодовольная «песнь торжествующей свиньи» покрывает все остальные голоса. В моменты отчаянья казалось, что иных голосов вообще нет и быть не может...

Борьба за существование долгое время была единственной целью большинства русских эмигрантов. Но самоцелью такая борьба ведь быть не может.

Теперь, когда мы вновь «к России добрели из чужой земли», нам пора взглянуть иными глазами на нашу бестолковую, суматошную заграничную жизнь и на тот тупик, в который она неизменно заводит.

* * *

Предлагаемые очерки печатались в шанхайской советской газете «Новая жизнь» с 1942-го по апрель 1946-го года и, преимущественно, отражают шанхайскую жизнь. Смена мыслей и настроений дана в этих очерках в хронологическом порядке.

Хронологическим порядком объясняется и непрерывная прогрессия цен. В эти годы в Шанхае свирепствовала инфляция.

В конце 1945 года произошла смена валют. В это время миллион марионеточной валюты «сиарби» был приравнен к пяти тысячам китайских долларов («сиэнси»), что в свою очередь составляло по курсу дня от трех до четырех американских золотых долларов.

В заключение считаю необходимым дать объяснение «шанхайских» слов, часто встречающихся в тексте.

Ама — женская прислуга, китаянка.

Аут — идти «аут» означает: идти в гости, на вечеринку, в театр. Вообще развлекаться.

Бар — 1) питейное заведение, стойка с выпивкой.
2) слиток золота (плитка) весом в 1 или 10 унций («голд-бар»).

Бой — мужская прислуга, китаец.

Бридж — распространенная игра в карты.

Вочман — сторож.

Годаун — склад.

Голд — золото, также американский доллар. Торговля на «голды» — торговля на американские доллары или на золотые слитки.

Коктейль-парти — светский прием, где гостям предлагаются бутерброды и коктейли.

Маджан — распространенная на Дальнем Востоке китайская игра, род домино.

Терасс — ряд однообразных жилых домов дешевого типа.

Педикэб — соединение велосипеда с коляской рикши. «Педикэбщик» — возница педикэба.

Фен — вентилятор.

Хибач — маленькая печка для приготовления пищи.

ЧУЖОЕ НЕБО

На улице, окруженный любопытными, на табуретке стоит фокусник. Он сообщает толпе, что сейчас синий мячик он на их глазах превратит в красный. Он убеждает толпу, что он не мошенник и в рукаве второго мячика не прячет. Он засучивает рукава и потрясает голыми руками. Он клянется, что тут все дело в чистейшем волшебстве. Толпа терпеливо ждет, когда начнутся волшебные превращения. Мальчик-рассыльный, которого послали в банк и который наперевес держит грязную пачку денег, — восторженно открыл рот.

Рядом полуголый, несмотря на октябрь, — рикша. Толстый купец в шелковом халате, грязная китаянка-«рисоноша» — только что из деревни. На ее лице почти молитвенное восхищение перед городскими чудесами.

Тут же рядом на тротуаре — ресторанчик под грязным навесом из рогожи, дымящиеся чашки с лапшой, и чавканье питающихся, и громкий голос хозяина ресторана, убеждающий прохожих остановиться и попробовать его прекрасной лапши. Тут же играют, ссорятся и рыдают двое китайчат. Может быть, это дети ресторатора, которых не с кем оставить дома. А может быть, дома вообще нет и вся жизнь проходит у хибача под этой грязной рогожей.

Неподалеку на дороге велосипедист и рикша, задерживая движение и потрясая кулаками, оскорбляют друг друга. Рикша толкнул велосипедиста. Или наоборот. Велосипедист упал. Они бурно выясняют отношения. Судя по их лицам и сверкающим глазам — оскорбления, наносимые ими друг другу — ужасны: дело, возможно, уже дошло до «мертвеца». Мальчишка-рассыльный, бросив фокусника, присоединяется к зевакам, наблюдающим за схваткой. Он тоже что-то кричит, размахивая пачками денег. Рикша обращается с пылкой речью к толпе, призывая ее в свидетели своей невиновности и злых козней велосипедиста.

Другая толпа зевак окружает оборванного худощавого молодого человека, который пишет мелом на тротуаре историю своей неудачной жизни. Каллиграфическое искусство молодого человека вызывает восторг присутствующих.

Линии иероглифов, написанных им на тротуаре, гармоничны и прекрасны, точны как математика и стройны как тело красивой девушки.

Молодого человека награждают за его искусство рваной мелочью.

Из магазинов на соседней улице несется дикий вой громкоговорителей. Звуки невероятной музыки, к которой ухо никогда не сможет привыкнуть.

Галдеж пререкающихся. Вопли фокусников. Зазыванья хозяина ресторана. Плач детей. Рычанье грузовиков, проносящихся мимо. Звон трамваев, доносящийся оттуда, где между двумя высокими и угрюмыми домами видна серая полоса реки и мачты шаланд. И весь этот шум покрывает протяжный громкий вой на одной ноте. Это вопит китайский нищий. Он катается по тротуару и звенит его жестяная баночка, в которую прохожие изредка самодовольно кидают мелочь. Неподалеку лежит нечто, завернутое в рогожу. По всей вероятности — труп ребенка, выброшенный родителями, у которых не было денег на похороны. Ах, лучше не думать, что именно там в рогоже! Лучше быстро пробежать мимо, торопиться, ругаться, толкаться, все только для того, чтобы на следующем углу радостно замереть перед другим фокусником или перед новой уличной сценкой.

Надо всем этим бледное небо Китая. Там, на западе, прорезая серые облака красными лучами, садится солнце.

Вот что-то случилось с трамваем и прохожие, бросив все свои дела, столпились вокруг и дают советы вагоновожатому. Вагоновожатый, в свою очередь, учит жить кондукторов. Кроме того, необходимо выяснить, кто виноват в том, что трамвай остановился. Дикие звуки невероятной музыки из громкоговорителей. И отдаленный вой безногого нищего.

А в небе тишина. И красное солнце садится медленно и торжественно.

И в который раз сознаешь, что страна под этим бледным небом, несмотря на привычку, даже на привязанность к ней, никогда не стала домом. На этих улицах, среди бесцельной суеты и шума, — всегда останешься чужим, посторонним.

Галдят прохожие, давая советы, истерично бранятся рикши. А там, на западе, в красных последних лучах царственно и медленно садится далекое солнце.

Там Россия. Широким бесконечным зеленым полем раскинулась на карте эта, никогда наяву не виденная, родная страна. Бумажное поле карты исколото, истыкано булавками. Они доходили до самого сердца России и потом стали двигаться на запад, вслед за Красной Армией, идущей по своей истерзанной, измученной земле.

Россия. Без нас страдавшая, без нас победившая!

Солнце уже село и на сером небе — лишь красная полоса заката.

Где-то неподалеку уже поет китайская флейта и звук ее жалобен и тягуч.

На чужом бледном небе скоро начнут зажигаться звезды.

ЧЕХОВСКИЕ ГЕРОИ В ШАНХАЕ

Бессмертен Антон Павлович Чехов. Бессмертны описанные им люди: оторванные от жизни, тоскующие неврастеники, тупые и черствые эгоисты, глупые «душечки», бездельные барыньки-«попрыгуньи»... В рассказах Чехова — скука провинциальных городов с пыльными акациями, с тяжелой засасывающей пошлостью, от которой стонет учитель словесности Никитин. В библиотеке несколько потрепанных книг — их никто не читает. Самой интеллигентной семьей города считается дом, где мать пишет романы, неизменно начинающиеся словами «Мороз крепчал», а дочь играет на рояли...

В область преданий ушли эти скучные городки с пыльными акациями. А люди чеховские остались. Перемена обстановки на них не повлияла. Они бессмертны!

Недавно мне довелось завтракать в компании чеховских героев.

Тут были дамы, обуреваемые необъяснимой «чеховской» тоской.

Одна из них, обладательница богатого мужа и роскошной квартиры, горько жаловалась соседке:

— Прямо не знаю, милая, что делать. Тоска просыпается раньше меня. Утром лежу я в постели и вставать не хочется. И такой жизнь кажется серой, такой скучной, монотонной!..

Этой даме можно было бы ответить словами чеховской же героини, Ирины из «Трех сестер»:

«Работать надо, работать! Оттого мы и на жизнь смотрим так невесело, что не знаем труд?..»

Но никто ей цитатой не ответил. Даме очень сочувствовали и озабоченно говорили:

— Нервы... Что вы хотите! Мы живем в такое тяжелое время.

Дама, видя общее внимание, оживлялась и продолжала:

— И аппетита, знаете, никакого. Такая тоска давит, такая скука...

А мне в голову все лезли цитаты из Чехова:

«Кофе нынче пила и безо всякого удовольствия...»

Но я понимала, что цитаты эти восторга ни в ком не встретят и из вежливости тоже кивала головой и бормотала что-то насчет «нервов».

Тут были люди, у которых, кроме карт, другого интереса в жизни, по-видимому, не было, потому что все время слышалось:

— У меня на руках пики... А она пас... У него длинная черва — а он — пас...

Из приличия меня спросили:

— Вы играете в бридж?

— Нет, — скромно сказала я.

Раздались громкие возгласы удивленья и возмущенья. Можно было подумать, что я призналась в неумении читать и писать. После чего с того конца стола с новой силой послышалось:

— Без козырей... а он пас... три трефы и одна пика на руках, а он...

— «А завтра утром проснешься и опять ничего, кроме водки и кроме карт» — тихо вспоминала я, предоставленная самой себе.

Впрочем, я недолго оставалась предоставленной самой себе. Прибежала опоздавшая дама — маленькая, шустрая, подвижная.

Шустрая дама быстро со всеми поздоровалась и, воспользовавшись моей беззащитностью, немедленно меня атаковала:

— Вы видели мою картину: «Снова закат»? Нет? Как же это вы! Непременно зайдите ко мне взглянуть. Очень удачно — все говорят! А художник Кисточкин, так тот прямо сказал: «Милая, вы гениальны! Милая, говорит, место этой картины в Парижском Салоне». Тема очень простая: закат и на этом фоне умирающий солдат. Над ним, наклонившись, сестра милосердия. Особенно мне удалось выражение небесного сострадания на лице сестры. Она смотрит, как будто говорит: «Боже, за что?» И в правом ее плече и в повороте шеи — выражение отчаянья. И прекрасно получилась, сжатая в кулак, рука умирающего. В этом кулаке — и ужас перед смертью, и покорность неизбежному, и юный задор, и беззаветная храбрость и... Да, кстати, почему вы не были на собрании литературного содружества: «Воскресенье — день ненастный?» Я там читала свои последние стихи. Все очень хвалили. Я сейчас вам прочту. Начинается так:

Наступаем. Наступаем. Пулеметы
Грохочут где-то у реки.
Закат в крови. У нашей роты
На солнце ярко горят штыки...

Поэт Закатиславов так прямо и сказал, что это замечательно! Он говорит, что одной строчкой, этими «штыками, горящими на солнце», я схватила, почувствовала и передала всю поэзию войны. И еще есть строчка, от которой он в восторге. Вот: «упал, не дышит. На запад, на запад шагают войска». Понимаете мысль: он погиб, но наступление продолжается. Один человек, маленький винтик — он выпал, но машина... Закатиславов назвал это стихотворение гениальным! Вы его не знаете? Ну что вы! Это восходящее светило. Он у меня каждый день обедает. Непременно, непременно приходите на наше литературное собрание. Я приготовила доклад о Репине. «Репин и русская береза». Начинается так: «Репин — гениальный русский художник...»



Все было ясно: передо мной сидела бессмертная чеховская «попрыгунья», незабвенная Ольга Ивановна, которая немного пишет, немного поет, немного рисует и устраивает у себя «салон», где собираются знаменитости. «Попрыгунья» тоже читает произведения своего пера или показывает произведения своей кисти, после чего все, выразив восхищенье, потирая руки идут в столовую, где накрыт холодный ужин...

Тем временем остальные чеховские герои со скучающими лицами заказывали завтрак и жаловались на то, что здесь плохо кормят. Потом жаловались, что здесь долго не подают, а моя соседка, радуясь случаю поговорить перед аудиторией, щебетала:

— Ах, я совсем не умею ждать! Я такая темпераментная! Это во мне говорит татарская кровь. Мои предки скакали на необъезженных лошадях. Помните у Блока: «Скачи, скачи, степная кобылица». Или: «Несись, несись...», не помню... Мне иногда хочется сделать что-нибудь безумное!..

А дама из типа «душечек» тихо рассказывала своей соседке:

— Мой Васичка говорит, что золото очень поднялось в цене. Он говорит, что сейчас — это лучший вклад. Он говорит, что подарит мне несколько золотых колец. Сейчас, знаете, такие тяжелые времена! Как сохранить деньги? Единственный выход, Васичка говорит, это пока покупать золото... Я не знаю, почему все так обрадовались открытию второго фронта. Васичка мой совсем не радовался. Он пришел домой и говорит: Маничка, говорит, теперь жди: цена на сахарин упадет. Вторжение, говорит, началось. Я так руками и всплеснула: Как же говорю, Васичка, мы теперь будем? Он ведь у меня сахарином торгует. И вот все говорят, что Германии очень плохо и она скоро проиграет войну и Япония тоже, и мы хотя и русские и рады, конечно, но Васичка говорит, что нечего уж очень радоваться, потому что, говорит, теперь цены на медикаменты тоже, возможно, будут падать. А он ведь давно у меня закупил аспирин и выжидает, чтобы цена поднялась...

«Попрыгунья» забыла обо мне и набросилась на соседа слева, которому, как я слышала, читала свои стихи: «Наступаем, наступаем...»

Так как теперь война — самая модная тема, то «попрыгуньи» пишут, говорят и читают о войне. Они всегда пристально следят за модой. В сущности же, как и во времена Чехова, они пишут, говорят и читают только о себе.

— Я открываю две бубны, а он — пас, — азартно неслось с другого конца стола.

— ...и такая тоска. Муж говорит: Сонечка, хочешь новое платье? У меня удачная комбинация с мылом и я все равно хотел тебе сделать подарок. И представьте, милая, даже платья не хотелось! Давно мечтала о синем шерстяном с золотой вышивкой и вдруг — неинтересно! Непременно пойду завтра к доктору. Нервы совсем раз-

гулялись. Жизнь такая скучная. И эта война. Американских чулок во всем городе не достанешь...

Обедом все остались недовольны. Говорили, что сладкое — ужасно. Совершенно безвкусное. И, вообще, месяц назад кормили гораздо лучше.

Картежники страшно нервничали. Они выглядели, как люди, которые опаздывают на поезд, и лихорадочно посматривали на часы. В три — у них был назначен бридж. Они очень торопились. Сладкого не ели. Хором прокричали: «Пас» и быстро исчезли.

Попрыгунья побежала не то на выставку, не то на собрание кружка «Воскресенье — день ненастный». На прощанье сказала, что мы с ней понимаем друг друга, что общество этих людей — ужасно, «настоящее болото», и что мне необходимо пойти с ней немедленно не то на выставку, не то на собрание кружка.

Но я с ней не пошла. Я была уверена, что и там я опять встречу чеховских героев.

На сегодня чеховских героев было достаточно...

На улице было душно. Газетчики продавали экстренный выпуск военных новостей.

И просто не верилось, что где-то в мире грохочет война и ежедневно, ежечасно умирают люди...

СЕЛЕДКА В ШАЛЯПИНЕ

Видела собственными глазами.

На портрет Федора Ивановича Шаляпина, небрежно вырванный кем-то из журнала, продавец равнодушно бросил селедку. Селедочное туловище покрыло лицо Шаляпина. Продавец привычной рукой завернул селедку в портрет, покупатель заплатил, взял покупку и вышел.

На небе смеялось солнце. Пахло весной. По тротуару деловито бежал человек с охапкой журналов под мышкой.

— Бегу продавать, — крикнул он мне, — хорошие деньги дают!

В прошлом этот человек занимался изданием художественного журнала. В журнале помещались портреты знаменитых людей и издавался журнал на хорошей бумаге довоенного образца.

— Э, — сказала я, — не останки ли вашего журнала я видела сейчас в лавке? И вам не жалко?

— Чего там, — ответил он, — деньги дают.

И скрылся в солнечной дали.

Сейчас он придет в полутемную лавку. Китаец, хищно выхватив у него из рук журналы, бросится с ними куда-то в глубину, где стоят давно нечищеные, хмурые и ко всему равнодушные весы. Бывший издатель художественного журнала будет нервно следить за колебанием чашек.

Когда-то его журнал был для него источником наслаждений и мук.

— Почему, — яростно кричал он своему помощнику, — почему Анну Павлову разверстали на две колонки, когда я, черт вас раздери, говорил разверстать на четыре и пустить подвалом? Подавать не умеете. И куда вы запихали ее портрет? Почему на последней странице?

Потом номер выходил, а издатель восторгался и хвастался, что портрет Шаляпина был с личной подписью, что такого портрета ни у кого нет...

Вот он стоит в полутемной лавке у двери, за которой визжат и дерутся дети. Он нервно следит за колебанием весов, не вспоминая о прошлой жизни. Он весь в настоящем: правильные ли весы? И сколько фунтов вытянет.

На грустную улыбку Анны Павловой завтра в мясной бросят полфунта печенки... И завернут.

Я видела поэтов, бегущих продавать свои издания.

Тоненькие книжечки, так никогда и не разрезанные, книжечки, которые никогда никому не были нужны и которые поэты, застенчиво улыбаясь, предлагали подарить своим знакомым. Теперь они нужны всем!

Их покупают на вес.

А вы знаете, сколько теперь стоит бумага?

В некоторых магазинах появились надписи:

«Просят уважаемых покупателей приносить свою бумагу для оберток».

Уважаемые покупатели, тем временем, несут продавать свои книги.

Недавно в трамвае...

Соседка справа везла, видимо, сырое мясо. На окровавленной бумаге виднелись строчки:

«...не уходи, — простонала Елена, — я... я пошутила!..

— Я не позволю с собой шутить, — ответил он, и в голосе его зазвенели металлические нотки. Таким она еще никогда не слыхала этот бархатный голос, звучавший всегда так нежно и так...»

На этом бумага рвалась и из нее нагло высовывалась круглая, мокрая, розовая кость.

Некто, стоявший передо мной, иди, вернее, полулежавший на моих коленях — вез овощи. Из кулька красочно высовывалась головка морковки с веселой зеленой прической. Веселая морковка изредка щекотала мое ухо, ибо некто, лицо которого я при всем желании рассмотреть не могла, при толчках прижимал весь кулек к моей щеке. Отклониться я тоже не могла и с горя читала оберточную бумагу.

«Вилла Бальфур, — вскричал он, — вы знаете легенду, связанную с этим домом? Нет? Не может быть!

— Я ничего не знаю, — ответил Гемфри, нервно поеживаясь...»

Тут строчки быстро приблизились к моему лицу и морковкина зелень попала мне прямо в глаз. Откуда-то сверху из неразличимой мешанины голов и плеч раздался голос, хрипло просивший извинения на общепринятом шанхайском наречии:

— Сорри,[*] — говорил голос, — толкаются, черти, чтоб их дьявол... сорри, мадам.

Видимо, это был обладатель морковки и волнующего повествования о нервном Гемфри.

Дальнейшую судьбу Гемфри я так и не узнала. Кулек с морковкой дрыгнул в дверях и скрылся, проглоченный множеством локтей и голов. Хриплый голос доносился уже издали.

«Опен! Уончи го![**] Опен дор[***], русским языком тебе говорят...»

— Вот, — думала я, — заворачивают морковь и мясо в книги. Какие бы они там ни были, но все таки книги! Может быть, впрочем, хорошо, что гибнет вся эта литература про Елен и Гемфри и стихи некоторых поэтов?

---

[*] Сорри — извините (*Здесь и далее, помимо отдельно означенных, прим. автора*).

[**] Уончи го — хочу выйти (по-шанхайски).

[***] Опен дор — открой дверь.

Но недавно, купив в магазине четверть фунта колбасы, я увидела на обертке знакомые строчки:

«Прощай, свободная стихия, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой...»

— Э...Э... позвольте! — воскликнула я, — но ведь это Пушкин!

Кощунство! Невозможно! Не хочу этих диссонансов, диких непотребных сочетаний военного времени: Шаляпина с селедкой, Пушкина с ливерной колбасой. Отвратительно!

И я решительно попросила завернуть во что-нибудь другое.

А на другом листке было написано:

«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа!»

На сей раз ливерную колбасу заворачивали в Гоголя.

Вокруг торговались и покупали женщины и деловито укладывали в корзинки свои кульки с провизией. С оберточной бумаги одного из них пел Пушкин, с другого «первым днем творенья» клялся лермонтовский Демон, а с третьего неторопливо рассказывал про детство Лизы Тургенев.

Строчки были окровавлены сырым мясом и засалены колбасой.

На рынок, на вес, на чаши равнодушных, давно не чищенных весов вышли классики!

Люди бегут по улице, таща на продажу любимые книги.

— И вам не жалко?

— А что поделаешь! Знаете, как теперь за бумагу платят?

«Придет ли времечко, — пел Некрасов, — приди, приди желанное»... Он мечтал о том времени, когда «Белинского и Гоголя с базара понесут...»

Случилось наоборот. Их понесли на базар...

ВЕЧНО-ЖЕНСТВЕННОЕ

В мире гремит война. Рушатся империи. Грохочут танки. Свистят бомбы.

У нас в Шанхае: идут дожди, тротуары затапливаются, потолки обваливаются, население ограбляется, цены растут.

Все это, тем не менее, не способно потушить в женской душе вечно-женственного.

Так из-под обломков разрушенного дома высовывает голову нежная фиалка.

Разговоры:

— Из юбки сделать рукава, живот собрать, чтобы не было видно швов, а спину — из старого светра. Спина, значит, вязаная, а бюст шерстяной. Это очень модно.

— Откуда вы знаете, что сейчас модно? Три года журналов не видим!

— Ах, Боже мой, простая логика. У кого сейчас есть деньги на новую материю? И значит, модно комбинировать!

— Из мужниного жилета спинку, а юбку — ума не приложу из чего… И, как вы думаете, синее можно сочетать со светло-зеленым?

— Чудные «пэддинги»![*] И совсем недорого. По авеню Жоффр направо, потом в переулочек. Номера я не помню. Но, в общем, вы спросите Женю, которая пэддинги делает. Там все знают.

— Сейчас пэддинги уже не модно… Сейчас носят женственные покатые плечи. Как по времена бабушек!

— Уродство! И при чем тут бабушки? Ни за что не буду носить такие плечи. И откуда вы знаете?

— Мне Вера говорила. А она видела мадам Кукс, которая была у мадам Фукс…

— Ну и что?

— А у Фукс есть последний журнал… «Вог»… Вот!

— Не может быть! Я всегда говорила, что она проныра. Муж зарабатывает дай Бог каких-нибудь…

— Не знаю уж, как она этот журнал достала, но достала! И зарабатывает на нем. За просмотр берет 500 долларов.

— Какое безобразие! Чтобы я ей дала нажиться… Но, между прочим, вы не помните ее адреса?

— Но мадам Кукс на этом тоже зарабатывает. Она видела журнал и за 200 долларов фасоны желающим рассказывает. Она уже

[*] «Пэддинг» —ватные наплечники, вшивающиеся для расширения плеч.

вернула свои 500 и еще подработала. Если поторговаться, то она и за сто расскажет.

— И она Вере рассказывала?

— Да. А Вера — мне. Как другу. Вот откуда я про плечи и знаю. А волосы носят короткие. Война. Некогда возиться. И поэтому очень модно короткая стрижка. Но не просто стрижка, а как-то по особенному. Тут теперь есть один парикмахер. Он за 500 рублей посмотрел и уже стрижет по-модному.

— Не верю я вашей Вере и Кукс. Короткие волосы! Уродство! Но на всякий случай: это какой парикмахер? На рут Сейзунг?

— Я скоро должна узнать адрес. Тогда вам скажу.

— Между прочим, из Лелиного хвоста получилась чудная муфта!

— Из чего?

— Ну из Лелиного хвоста. Я же вам рассказывала, что у Лели от лисицы остался хвост. Я по дешевке купила. Пошел на отделку муфты. Очень красиво.

— Муфт больше не носят.

— Что? Кто вам сказал?

— Кукс говорила Вере. Так и сказала: а муфту вашу, милочка, можете кому-нибудь подарить. В журнале, говорит, ни одной муфты!

— Ах, Боже мой! Но, может быть, она видела только летние фасоны?

— Может быть. А ведь верно! Надо бы спросить еще раз. Но, во всяком случае, у меня муфты все равно нет. Мне не из-за чего волноваться.

— Вы мне дайте номер телефона этой Кукс. Может быть, она за 50 долларов скажет, а, как вы думаете? В конце концов, ведь только один вопрос!

— Возможно. Знаете, я свои плечи переделывать не буду. Очень хлопотно. Вот на днях кончится война, тогда я себе сразу закажу несколько новых платьев.

— Война? На днях?

— Разве вы не слыхали? Это уже все знают. К одной покойной даме приходил знакомый муж... То есть наоборот: к знакомой даме приходил покойный муж, и так и сказал: семнадцатого. Она его совершенно ясно видела: тут, говорит, ночной столик, а тут он. Стоит, а сам светится. А она, представьте, даже не испугалась! Говорят, так чаще всего бывает с привидениями. Пугаешься потом. А сначала все кажется совсем нормальным. Она даже не удивилась, что покойник пришел ее навестить. Вот он и говорит: «Таня, не волнуйся. Семнадцатого ноября». И исчез. Она уж, конечно, спать больше не могла и наутро обежала всех знакомых...

— Но ведь он не сказал, что именно война кончится 17 ноября? Он просто, значит, сказал 17 ноября?

— Ну, Боже мой, ясно, что он говорил про войну! Про что ж еще? Ну, в общем, побежала она по знакомым, и знаете, что выяснилось? Что он к Софье Григорьевне тоже заходил. И время выяснили. Таня говорит, что он у нее был ровно без пяти три утра. Она говорит: «Меня будто что-то толкнуло. Я проснулась, зажгла спичку, смотрю на часы: ровно без пяти три. А тут подняла голову и вижу: покойник мой стоит. Рядом с ночным столиком». А Софью Григорьевну тоже толкнуло, но на ее часах было уже половина четвертого. Значит, он от жены прямо туда отправился. И тоже сказал: 17-го. Тане это, конечно, не понравилось. — Что, говорит, он к родной жене зашел — это понятно! Но при чем тут, говорит, Софья Григорьевна? У нее, говорит, тоже муж покойный, и только два месяца как умер, пускай бы к ней и ходил сколько хочет, но при чем, говорит, тут мой муж? В общем, они перестали здороваться.

— Кто?

— Ах, Боже мой! Да Таня же с Софьей Григорьевной! Между ними такие неприятности были из за этого покойника! Главное то, что война непременно кончится 17-го. Мой зеленщик то же самое сказал. Точно даты не назвал, но говорит: «Мадам, скоро его кончайла». Кто кончайла — тоже не сказал. Но, в общем — все ясно! Вы знаете ведь, как китайцы: они всегда все знают!

— Слушайте, так это страшно интересно! Побегу расскажу Марье Петровне. Она, бедняжка, так расстраивается из-за этих цен!

— Удивляюсь, как вы этого не слыхали! Весь город знает. Я своему мужу вчера рассказывала, а он рассердился. Вы знаете, как теперь у мужчин характер испортился! Ты бы говорит, дура, вместо этих бабьих сказок газеты бы, говорит, читала, тогда бы ты своим куриным мозгом... Вообще, так кричал и оскорблял!.. Я даже пригрозила разводом. И не знаю, почему не верить в привиденья? В электричество тоже раньше не верили, а теперь оно доказано. А насчет газет, говорю, так я их не читаю. Все то же самое. Отступили. Наступили. А я хочу знать, когда все это кончится. А они про это и не пишут. Так ему и ответила. Он махнул рукой и больше ничего не сказал. Мужчинам, милочка, никогда не нужно давать последнего слова.

— Ну, я побегу. К Марье Петровне. Да, да! Не забудьте достать мне номер телефона мадам Кукс. Нет, я ни за что не буду носить покатые плечи! Подумаешь! Бабушек вспомнили! Уродство! Так семнадцатого, вы говорите? Бедная Марья Петровна так обрадуется!

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

За окном был майский вечер, задумчивые деревья, кусочек луны, темные кусты, убегавшая куда-то дорожка, посеребренная луной.

За окном была тишина, спокойствие, мудрость.

В комнате не было ни того, ни другого, ни третьего. Там сидели люди, ели рыбу, стучали вилками. Вокруг них двигался бой, которого уже три месяца воспитывала хозяйка, стремясь, чтобы он был похож на боя из лучшего английского дома. Такой бой, как известно, движется бесшумно и лицо имеет непроницаемое. Бесшумно подкрадываясь сзади, бой совал блюдо к левому уху ничего не подозревавшего гостя. Гость вздрагивал от неожиданности, нервно улыбался и брал кусок рыбы себе на тарелку. После чего бой скользил дальше. Все было очень мило, и ужин шел вполне благополучно. Правда, бой все же допустил серьезную ошибку. Поднес сначала г-же Икс, а потом г-же Игрек. Это очень расстроило хозяйку и заставило г-жу Игрек удивленно прищуриться. Так как муж г-жи Игрек был человеком весьма богатым, то его и его супругу надо было окружать всяческим почетом. В остальном же все шло очень мило.

Разговаривали.

Темы о дороговизне не затрагивали. Половину гостей она мало волновала. Это все были солидные и почтенные тузы, что-то удачно и вовремя припрятавшие. Если при них касались этого животрепещушего вопроса, они вели себя как люди, при которых говорят о болезни мало им знакомого человека. «Да что вы, — говорили они, — вот как? Ужасно. Подумайте, а?» и немедленно начинали говорить о чем то другом.

Другая половина гостей, к которой принадлежал и хозяин дома, ничего не успела «припрятать», за что их горько и ежедневно упрекали жены, жили на жалованье и, следовательно, жили бедно.

«Богатство в настоящее время — это плод воровства и грабежа», сказал Наполеон Бонапарт. Слова его не потеряли свежести и в наше сложное время. Это — между прочим...

Но о дороговизне они тоже не говорили, потому что не хотели ударить лицом в грязь перед вовремя спрятавшими и делали вид, что жизнь их течет легко, привычно и без особых забот.

Если бы дать волю хозяйке, если бы ей было позволено на минутку сбросить маску, она немедленно заговорила бы о самом волнующем: о том, во сколько ей обошелся сегодняшний ужин и, значит, на новые подметки денег не хватит. И как тут быть, я вас спрашиваю, с летними туфлями? Может быть, эти темы, затронув что-то больное в ее душе, заставили бы ее глаза заблестеть челове-

ческим чувством.

Вместо этого она с улыбкой щебетала о погоде и о своей собаке.

О политике тоже не говорили.

Говорили на темы нейтральные.

— Не знаешь, что надеть утром, щебетала хозяйка, нервно следя глазами за подававшим боем, — наденешь утром костюм, а к полудню совсем жарко.

— А я уже уложила свои теплые вещи. И вдруг холод!

— Какие все-таки странные перемены! Этот климат так действует на здоровье...

Насчет климата все были согласны. И разговор тек, как ручеек.

«Припрятавшие» говорили о том, что когда все «это» кончится, то надо непременно уехать в Париж. Или вообще куда-нибудь.

Один молодой человек, позванный случайно, «для числа» и не знающий правил светской жизни, внезапно заговорил что-то о России и о победах. Все прохладно улыбнулись молодому энтузиасту, но разговора не поддержали. Все эти разговоры совершенно не подходили к светскому ужину.

Щебетали дальше. О спиритизме. О веранде модного клуба. О выставке мод.

Все твердо решили делать вид, что в мире ничего особенного не происходит и жизнь так же беспечна и легка, как была когда-то...

Фокстерьер, слонявшийся вокруг стола, вдруг затосковал и улегся в углу и долго лежал, раздумывая, зачем некоторым людям дан драгоценный дар речи.

Если бы он был знаком с человеческой литературой, он воскликнул бы вслед за Ромео: «О важность вздора! О нечто, порожденное ничем!»

За кофе господин Игрек, внезапно сообразив, что скоро можно будет уйти домой и лечь спать, развеселился и начал острить. Его большое богатство, сделанное при помощи спекулятивных махинаций, помнили все, — и хотя отношение к нему было вполне бескорыстное (взаймы все равно не даст), все же его шуткам восторженно смеялись.

На одну из его острот («Для вас огонь у меня всегда найдется», — сказал он соседке, давая прикурить) — вдруг взвыл в углу фокс и, не выдержав, ринулся в открытую дверь и долго там бегал кругами, дыша вечерним острым воздухом, запахом травы и свежести.

Потом все разошлись.

В передней говорили:

— И к нам непременно. Созвонимся.

— Душенька, не забудьте: в среду в три.

— Что?

— Как что? Маджан у мадам Зет!

— А... да, да!

По дороге супруги Икс говорили:

— Скука была смертная. Спать хочется. Накормили черт знает чем. Рыбка-то была какая-то подозрительная. И чего тянутся? Знали бы свое место! Я говорил, не надо было идти. Теперь их к нам придется...

Супруги Игрек говорили... См. выше.

Хозяева дома говорили:

— Слава Богу! Отделались! Теперь еще долго можно будет не звать. Обошлось дороже, чем рассчитывали...

Уже в постели хозяйка дома, вздрогнув, сказала:

— Боже! Чуть не забыла. Завтра ведь у меня чай с этими двумя ядовитыми дурами: Пресмыченко и Федоренко. Потом их придется звать!

— Спи, спи, — сказал муж, — уже поздно.

Фокс долго укладывался в своей корзинке и радовался тому, что ему не нужно ходить в гости и звать к себе, и что он может знаться только с теми собаками, которые ему приятны.

А хозяйка долго не могла уснуть. Она перебирала в памяти свой ужин, вновь пугалась ошибке боя (сначала подал г-же Икс, а потом Игрек. Идиот!). Было ли все, как у людей?

Еще не так давно она была молода, при разговоре о литературе глаза ее загорались настоящим человеческим блеском, она кричала о том, что нужно знаться только с теми людьми, с которыми у тебя есть что-то общее.

Когда она изменилась? Может быть, в тот вечер, когда ее с мужем позвали на обед какие-го «знатные иностранцы» и на нее произвели потрясающее впечатление свечи на столе, холодная скука за обедом и громадные бокалы, на донышко которых наливался коньяк. Она завела у себя свечи. Потом бокалы. Потом скуку. О некоторых знакомых она говорила: «Нет, ты подумай! У нее нет никаких манер. Ты заметил, что она взяла для рыбы не ту вилку?» И глаза ее горели тем же возмущеньем, с которым лет семь тому назад она говорила о несправедливости, трусости, предательстве. Она страшно гордилась своим знанием светских приличий. Ей стало казаться, что хороший внешний лоск — является главным качеством человека. Среди маджанов, чаев и ужинов, она не замечала, что мелочи для нее становятся главным, а главное уходит, расплывается. Она, так любившая когда-то Пушкина, сама не чувствовала, что подражает так зло осмеянной им светской черни, которая его убила. Она не понимала, что в наше страшное, кровавое, героическое время ненужные чаи с ненужными людьми еще смешнее и уродливее, чем в прежней благополучной жизни. Мелочи заслонили от нее все.

Во сне она видела новое платье, которое наденет мадам Пресмыченко к завтрашнему чаю и тихо стонала.

Фокс мирно храпел в своей корзинке. Его жизнь была легка и никакого чая ему не предстояло...

ШАНХАЙЦЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Блестело мартовское солнце. Щебетали птицы, которым было наплевать на новую стоимость хлеба. Взад и вперед по тротуару неслись люди с кульками. Одни бежали продавать свой старый хлам (бутылки, бумагу, тряпки), другие, уже продавшие, неслись покупать на эти деньги полфунта чего-нибудь.

Покупать я неслась или продавать — уже не помню. Но помню, что на углу была остановлена громким возгласом.

— А! Здрассте. Как живете?

Не могла же я поступать по рецепту Тэффи! Не спеша взять человека за пуговицу и начать рассказывать ему, как я живу, долго, вдохновенно и подробно. Вот, мол, утром сегодня гляжу: на новом чулке опять дыра! А с чулками, знаете, нынче трагедия! Затем вышли неприятности в мясной. Этот нахал-продавец... После чего, описав невзгоды материальные, поделиться с человеком, легкомысленно задавшим мне этот вопрос, своей духовной жизнью. Читаю, мол, сейчас то-то. Думаю по этому поводу то-то.

Сделать этого я, конечно, не могла. К тому же торопилась.

А потому, прокричав «спасибо», «хорошо», — я сделала попытку промчаться дальше.

Но знакомый мой эту попытку немедленно пресек.

— Что?! — вскричал он возмущенно. — Вы сказали хорошо? Разве сейчас живут хорошо? Сейчас живут хорошо только спекулянты! Честные люди с высшим образованием выброшены за борт...

Я никак не ожидала подобного взрыва на мои невинные слова. Грозное лицо, с вращающимися от злобы глазами, надвигалось на меня. Я прижалась спиной к столбу.

— За борт! — вопил он. — Понимаете? За борт! Жрать каждый день не имеют возможности честные люди с высшим образованием. Вы слышали о новой цене на хлеб?

Какая-то дама с кульком заинтересованно остановилась. Вскоре к ней присоединилась другая.

— В общем, конечно... — пробормотала я примирительно, — трудно, это верно... Так как-то, знаете... вообще...

И сделала попытку вырваться из окружения.

Попытка ничем не кончилась. Я вынуждена была отступить под прикрытие телеграфного столба.

А он все наступал, яростно крича:

— Разве это жизнь? — спрашивал он меня тоном прокурора во время последней речи, — жизнь это или нет, я вас спрашиваю? Это — растительное, животное существование, когда интересы сосредоточены только на еде. Честные люди с высшим образованием...

К двум дамам с кульками присоединились еще три. Заложив руки в продранные карманы, стоял, с любопытством прислушиваясь, какой-то безработный. Стоял китайский ребенок, засунув палец в нос.

Человек с высшим образованием, тем временем, перешел к военному обзору. Выяснилось, что в ранней молодости он провел две недели на фронте. А потому считал себя военным специалистом и страшно издевался над способом ведения современной войны. Особенно доставалось от него немцам, но и русских он не больно жаловал.

— Это ж курам на смех, — кричал он и неестественно хохотал «смехом водевильного генерала», по выражению Чехова.

Число китайских детей росло на глазах. Они уже окружили нас плотным кольцом.

Не помню, каким образом мне удалось бежать, но я бежала.

Завернула за угол, тяжело дыша.

— Вот, — думала я, — до чего дошел человек. Ведь едва меня знает, а как кричит! Воображаю, какая страшная жизнь у несчастной женщины — его жены. Она, конечно, отвечает за все. И за действия союзников, и за неприятности в трамвае, и за речи Геббельса, и за цены на базаре. Ужас!

Есть такие люди, на которых военное время подействовало озлобляюще. Они пылают яростной ненавистью ко всем. Они презирают всех. Они учат, как жить и как воевать. Они пишут письма в редакции газет. Их жены — преждевременно состарившиеся женщины с тусклым и безразличным взглядом. Эти люди так глубоко все презирают, что ничего не хотят читать. Они вооружены полным невежеством, несмотря на свое «высшее образование». Невежество им помогает рассуждать обо всем с видом знатока, а желчь сообщает их речам силу и темперамент. Все это медленно, но верно укорачивает жизнь их близких и отпугивает от них знакомых.

Есть и другой тип людей. На них военное время подействовало иначе. Они отупели и потускнели. Это произошло от развеселой жизни, которая с дьявольской настойчивостью бьет по головам ценами. Они ничему более не удивляются. У них безразличные глаза и бледные лица. Говорят они быстро, монотонно и все больше насчет цен и насчет трамваев. Характерным для них признаком является вопрос, который они неизменно задают в конце каждого разговора:

— ... Скажите, а вы не знаете, когда война кончится?

Впрочем, ответа на этот вопрос они не ждут. Бледно и виновато улыбаются, говорят «пока», добавляют по привычке, — «заходите» и скрываются со своим кульком в зловеще надвигающихся сумерках.

Но есть люди, которых война, наоборот, оживила. В них неистощимым ключом бьет энергия и говорят они отрывисто и лаконично и главным образом о цифрах:

— ... Миллион... а я ему говорю: а что такое сегодня миллион? Это, по-вашему, деньги? Я говорю — не деньги!

И к войне они относятся по-своему: они все больше держат пари. Это у них называется «игрой на города».

— Сначала, — говорят они, — я сделал неплохие деньги на Москве. Один идиот говорит: Москву возьмут! Что? — говорю я. А он говорит: пари на 50 голд. Ну и я, конечно, выиграл. Ну заработал таким образом еще на нескольких городах. У меня нюх!

Есть еще люди, на которых военное время подействовало опьяняюше.

То есть, попросту говоря, они все время пьют.

Одна дама рассказывала:

— Ах, это ужасно, мы здесь живем, ничего не видим. Там совершаются такие события... Там поэзия боя... Как это говорит один поэт? Как его фамилия? Не помню! Еще вчера помнила, а вот забыла. Ах ты, Боже мой, какая память стала! Как-то на букву... Даже не помню, на какую букву. Не помню там о чем, но есть такие слова: «во имя»... вот, во имя чего — забыла. Ну, в общем: «Во имя чего-то встретить ветер боя». Именно, именно: ветер боя. Как красиво! Я сама иногда мечтаю. Сидеть на пригорке и стрелять, стрелять!.. Барабан гремит, труба поет... А тут... Все время хочется забыться. Вот мы и собираемся. То у нас, то у Глупевич... У них премиленькая квартирка. Очень славно проводим время. Устраиваем то литературные собрания, то музыкальные. Потом, вскладчину, маленький ужин, выпивка. Так хочется, знаете, забыться...

Эти люди, которым хочется забыться — тоже патриоты. Они встают, пошатываясь, во время ужина и предлагают громкие тосты за победу. Пьяные встают, поддерживая друг друга и у некоторых, то ли от чувств, то ли от скверной нынешней водки, на глазах появляются слезы.

— В-выпьем... — говорят они.

После чего продолжают забываться дальше...

Иногда кто-нибудь из присутствующих с пафосом что-нибудь декламирует. Пьяные проникаются торжественностью момента, стараются не шуметь, не падать со стульев и держатся за стены и друг за друга.

Да. Так и живут!

Озлобляются, тупеют, «играют на города», как будто это «свипстэкс»[*], а в мире в это время происходят великие события.

Есть, конечно, люди, которые живут иначе.

---

[*] От англ. sweepstakes — тотализатор, лотерея (*Прим. ред.*).

Они не пьют, с растроганными улыбками о «пафосе боя» не декламируют, но работают, чтобы понять, почему сейчас наша родина идет к победе. Они стараются не опускаться душевно в нашей серости и тине, стремятся стать истинными гражданами своей великой страны, чтобы быть хоть немного достойными тех людей, которые идут сейчас вперед по дорогам Германии.

Чтобы не стыдно было взглянуть тем людям в глаза, когда приведется встретиться.

ВСЕ ПРОЙДЕТ

Одна китайская газета грозно предлагает, — с целью прекратить спекуляцию, — выслать из города всех людей неопределенных занятий.

«Слова, слова», не без горечи повторяем, вслед за Гамлетом, мы, люди определенных занятий.

Мы ведь знаем, что «люди неопределенных занятий» — настоящие баловни судьбы. И хотя все газеты нас хвалят и называют нас «страдающим населением», и клянутся заботиться о нашем благополучии, а их, людей без занятий, ругают и грозят, вот, даже выселить, все равно, мы знаем:

Они — баловни судьбы. Мы — ее пасынки. И ничему тут не поможешь, и ничего не исправишь!

Газеты их ругают, а вы этих людей, конечно, презираете. Вы говорите вашей приятельнице:

— Иванюк-то, подумайте! Одну квартиру продал за три миллиона, другую купил за два... Жене — кольцо, себе часы... Такой жулик!

И добавляете: — Ну, наши мужья, милочка, конечно, так не сумеют.

Это значит: наши мужья честные и мы ими гордимся. И вы улыбаетесь друг другу улыбкой, показывающей, что вы довольны судьбой и просто не хотите, чтобы, несмотря на все эти миллионы, ваши честные мужья занимались разными темными иванюковскими комбинациями.

И, утешая себя честностью, вы с гордо поднятой головой входите в свою холодную комнату, где ваш муж уныло сидит на корточках, пытаясь разжечь печку и, хотя вы глубоко цените его честность, но (о, человеческая натура!) вы садитесь на край продранной кушетки и начинаете деловито пилить мужа:

— ... Нет, я, конечно, не хочу, чтобы ты занимался спекуляцией, но надо что-то придумать. Надо делать запасы, например. Вот Петровы купили двадцать фунтов сала и сахар, когда он еще был по 100 долларов. Продали велосипед или пишущую машинку, уж не помню что, и купили. Вот! Они говорят, что на этой машинке уже сто процентов заработали. Это не спекуляция. Это умение жить! А мы не умеем. На жалованье надо сразу что-то покупать. А денег в доме не иметь. А то они падают. Это все говорят. Надо продавать и покупать... Ах, Боже мой, да оставь ты эту печку! Уголь никуда не годится. Надо было что-нибудь продать и купить уголь еще летом...

И всю ночь вы ворочаетесь. Завтра вот он получит жалованье и на это жалованье все равно не дотянешь до конца месяца. Надо что-то купить. И продать. И заработать вдвойне. Но что, что? Ах,



почему у этого беззаботно храпящего рядом человека нет светлой головы Иванюка?

Назавтра вы расстраиваетесь еще больше.

Вы едете на своем скрипящем и шипящем старом велосипеде. Передняя покрышка уже лопнула и вы думаете разные невеселые думы. Вас догоняет ваш знакомый Фукс — человек неопределенных занятий. На шее Фукса развевается роскошное, зеленое с красным, кашне, и сидит Фукс на изумительном велосипеде, блестящем, новеньком и сияющем, как молодой месяц в морозный вечер.

— Обратите внимание на мой велосипед, — говорит Фукс и гордо шмыгает носом (на улице холод).

— Уже обратила, — говорите вы.

— Так он мне достался даром.

Вы тоже шмыгаете носом, взволнованно и вопросительно. Фукс рассказывает. Его рассказ напоминает старую добрую сказку о мужике, который все занимался менами. Кусок золота он променял на коня, коня на овцу и доменялся, в конце концов, до иголки. В рассказе Фукса — все наоборот. После долгих и упорных мен в его руках, вместо иголки, очутился кусок золота.

Он купил старый велосипед. Отремонтировал. Продал. Купил другой. Продал. Заработал. Опять купил... Опять продал... Заработал. И т. д.

На прощанье Фукс таинственно шепчет:

— Дам хороший совет. Закупайте керосин. Скоро не будет.

И, заворачивая за угол, скрывается на своем сияющем велосипеде в голубой дали. Скрывается как «мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Дома вы садитесь на край продранной кушетки и начинаете пилить мужа:

— Ты даже не умеешь продавать велосипедов, — с горечью говорите вы, — вот Фукс. Он, конечно, жулик! Он даже как-то в тюрьме сидел. Но, в конце концов, в продаже велосипедов ничего криминального нет! Ты бы тоже мог...

Нет, мы просто не умеем жить! Немедленно поезжай за керосином. Фукс был в хорошем настроении и дал совет... Фуксу надо верить. Он-то уж знает! Он даже в тюрьме сидел. Непременно надо керосин...

А ночью вы видите во сне Фукса и его блестящий велосипед, сияющий, как молодой месяц, и роскошное, зеленое с красным, кашне...

Утром замерзли окна, в комнате мороз и за окном уныло покачивается ваш единственный съестной запас: копченая колбаса подозрительного вида.

И вы грустно думаете: наступит ли когда-нибудь время, когда люди определенных занятий, такие честные работяги, как ваш муж, смогут жить прилично? И долго ли будут веселиться Фуксы?

СВЯТАЯ ПРОФЕССИЯ

Больного положили на операционный стол, и ассистент вопросительно взглянул на доктора. Но доктор не подходил к столу. Он вопросительно взглядывал на часы.

Текли минуты. Больной тихо стонал. На улице пронзительным голосом закричал китаец-разносчик. Доктор смотрел на часы и нога его нервно постукивала об пол.

— Геннадий Николаевич, — сказал ассистент, — начать бы, а?

— Я не начну, — сказал доктор, не отрывая взгляда от циферблата, — я не начну, пока эта женщина не принесет мне обещанные 800 тысяч. Как будто вы сами этот народ не знаете. Сделаешь операцию, больной вне опасности, и тут начинается: «Доктор, голубчик, мы сейчас так стеснены... ах, подождите немного... мы заплатим»... Она мои условия знает: деньги вперед.

Минуты текли. Где-то со звоном пронесся трамвай.

— Если мы сейчас не начнем, — сказал ассистент,— то, может быть, будет уже слишком поздно...

К обеду доктор вернулся усталый и раздраженный.

— Геночка, — хлопотала жена, — почему ты не ешь супа? Какой ты бледный! Тебя замучили эти больные. Ну что, принесла эта женщина деньги?

— На 20 минут опоздала. Я ей прямо сказал: мадам, это опоздание может стоить жизни вашему мужу. Опять этот суп пересолен!

— Не может быть! Несчастье с этим поваром. Но откуда у нее все-таки деньги? Они, кажется, очень нуждаются. Помнишь, как она плакала и просила тебя о скидке?

— И хорошо, что не согласился. Она все-таки раздобыла. Обручальное кольцо продала. Но почему у них все в последнюю минуту — неизвестно! Мы ждем. Время дорого. А она кольцом торгует.

После обеда доктор отдыхал, а жена ходила на цыпочках и шепотом говорила младшей сестре:

— Подумай, бедный Геночка ждет, волнуется, больной весь посинел, а эта идиотка побежала кольцо продавать! Раньше она, оказывается, не могла этого сделать. Ей, видите ли, кольца было жалко! Ей оно, видите ли, дорого как память! До последней минуты надеялась, что ей какой-то дурак взаймы даст...

В приемной собирались пациенты и жена доктора волновалась, что доктору опять не дают поспать, и бегала в кухню смотреть, как у повара выходит торт с персиками по новому рецепту, и бегала в комнату сестры, которая, лежа на кушетке читала роман. И говорила возмущенным шепотом:

— В приемной опять какие-то две бедно одетые сидят. И у одной лицо знакомое. Мне кажется, это та самая, которая просила мадам Фенкину устроить ее бесплатно в госпиталь. Несчастье с ними! Опять, значит, будут Геночке нервы трепать и просить лечить со скидкой. Какие теперь скидки! Ты знаешь, сколько я сегодня заплатила за персики? А сахар, а сливки! Этот торт нам ужас сколько обойдется. И вообще цены! А больным как будто до этого дела нет. То дай им рассрочку — а деньги падают, то скидку...

В это время в кабинете доктора переминался с ноги на ногу какой-то худощавый человек и говорил:

— Доктор, мы должны неожиданно уехать из Шанхая. Так что жене придется рожать уже не здесь. Я вам за роды вперед заплатил, как вы просили, так нельзя ли...

— Нельзя! — твердо перебил доктор, — вы уезжаете — это дело ваше. Я тут не причем. Почему я должен возвращать деньги? У меня их даже и нет. Вам магазин тоже не вернет, если вы заплатили вперед, а потом от вещи решили отказаться. Почему...

— Некоторые магазины вернули бы, — сказал худощавый человек, — и, кроме того, я никогда не сравнивал доктора с магазином. Одну минутку. Я не кончил. Вы меня не поняли, возвращать ничего не нужно. Но у моей жены есть подруга. Очень нуждается. Она ждет через месяц. Так вот я хотел просить: может быть, вы у нее примете? Поскольку уже заплачено, а?..

— Он, конечно, наотрез отказал, — рассказывала жена, спустя несколько минут, в комнате сестры, — можешь себе представить, до чего дошли эти люди! Я подслушивала у дверей и думаю: если Геночка начнет соглашаться, я постучу и под каким-нибудь предлогом его вызову. И просто запрещу ему. Но, слава Богу, он и сам сумел отказать. А то подумай: принимать у каких-то бедных подруг! На каком основании? Побегу. Сейчас, кажется, очередь этих двух бедно одетых. Надо послушать, о чем они будут просить.

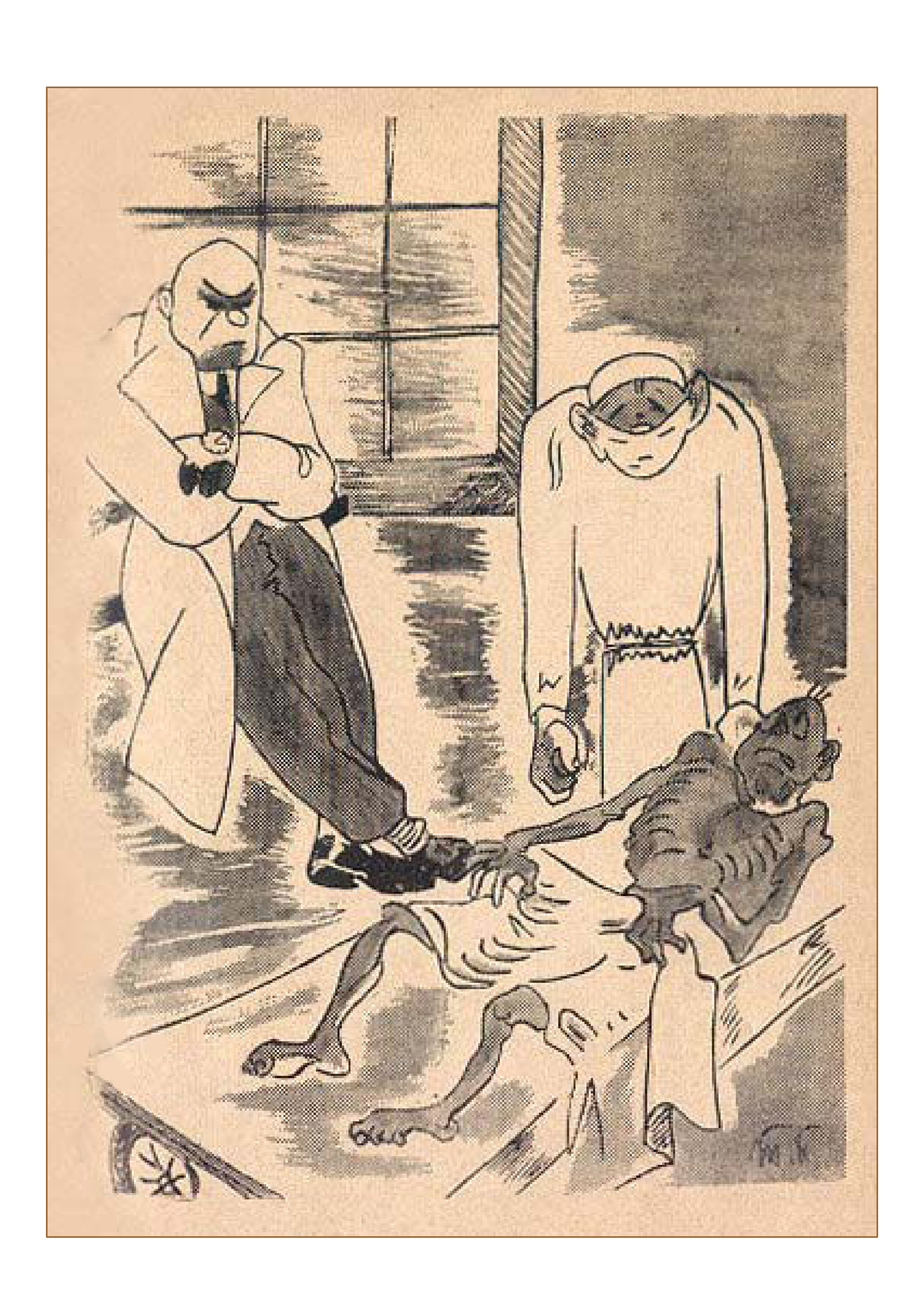
За дверью приемной слышался сухой голос доктора:

— Что ж я могу сделать, подумайте сами! Я, конечно, очень сочувствую. Но, знаете, если я всех начну лечить со скидкой и в рассрочку — посудите сами, что это будет. У меня определенная плата за курс лечения и деньги вносятся вперед. Не можете — очень жаль, но помочь не могу.

После чая доктора вызвали и он уехал, предварительно долго внушая по телефону невидимому собеседнику, что за выезд берет двойную плату.

К ужину были гости. Богачи Фенкины, которые недавно построили пятый дом.

— Фенкин — большая умница, — рассказывала жена доктора своим близким, — жили они раньше в комнатке в террасе, нуждались. А во время войны, смотрите, как он в гору пошел. Начал с комиссионерства, а теперь миллионер. Контору свою имеет. Не



знаю точно, на чем он такие деньги сделал. Но голова у него замечательная. Такой нюх: всегда знает, что именно подорожает. Медикаменты, между прочим, прятал. Знаете, как патентика теперь вздорожала? Он и Геночке советовал, но вы знаете моего Гену: врач, говорит, святая профессия. Торговать не умею и учиться мне уже поздно. Ничего с моим Геной не поделаешь!

На столе были розы в хрустальной прекрасной вазе и после обеда мужчины пили коньяк: доктор был в хорошем настроении и открыл одну из своих заветных бутылок. Дамы оживленно щебетали о платьях, о маникюрах и о чем-то легком, веселом и несложном. Раз говор мужчин был серьезнее:

— ... И дает мне сто американских, — говорил доктор, — наличных местных денег, говорит, у меня нет, эти американские я вам даю, как залог, а в субботу принесу вам 500.000, тогда вы мне мои американские вернете. Но обидно возвращать, как вы думаете, Борис Абрамович? За эти два дня американский поднялся.

— Не возвращайте ни за что, — советовал Фенкин, — скажите ему, что уже продали. Наврите что-нибудь, но не возвращайте. У меня был случай в этом роде: дает мне клиент на покупку товара голд-бар...

— Как хорошо, что вы Геночке советуете, — перебила жена доктора, — он у меня такой не от мира сего в этих делах. Что поделаешь: врач, идеалист!

— Еще коньячку? — сказал идеалист.

— Можно, можно, — сказал Фенкин, — коньячок добрый! Так вот, насчет голд-баров...

Потом разговор принял сумбурный характер и все время слышалось: продать... перекупить... голд... серебро... держать... спрятать... двадцать процентов... чеки...

Зазвонил телефон. Вызвали доктора. Он вернулся к столу минут через пять.

— Вызывают по какому-то подозрительному адресу, — объяснил он, — но я отказал. Там одна беднота живет. А тут педикэб один сколько стоит.

Потом Фенкин с доктором выпили еще по рюмочке и Фенкин смеялся над непрактичностью доктора и говорил:

— Дорогой мой, с вашей профессией можно такие деньги сделать! Уметь надо...

А доктор, улыбаясь, говорил:

— Что делать! Не умею! Таким родился.

А жена доктора с упоеньем говорила мадам Фенкиной:

— Святая профессия. Геночка с детства мечтал быть врачом, облегчать страдания людей. Но, знаете, теперь так трудно! Сейчас столько бедноты развелось. Каждый норовит не заплатить. Ужас!

— А у нас служащие, — жаловалась мадам Фенкина, — каждый кричит, что ему жалованья не хватает. Один наглец так прямо мужу и сказал: у вас, говорит, голд-бары, а мы с голоду дохнем. А при чем тут Боричкины голд-бары?

— ... Перекупить, — азартно говорил Фенкин и стучал кулаком по столу, — понимаете? Подержать и продать.

— Именно, именно, — соглашался представитель святой профессии.

Розы, стоявшие на столе в прекрасной хрустальной вазе, были такие бледные и усталые, как будто им было нестерпимо душно. И на самом деле было душно и что-то давило и облака на небе были тяжелые и, кажется, собирался дождь.

ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВО

Когда, после электрической завивки, Ольга Петровна стала мыть платиновые, много раз крашеные волосы клиентки, она с ужасом увидела, что концы волос отваливаются.

«Я же ей говорила, — отчаянно запрыгало в голове Ольги Петровны, — я же ей говорила, что такие перекрашенные волосы опасно завивать. Я, я сама виновата. Зачем взялась!..»

И громко сказала, стараясь, чтобы голос звучал спокойно:

— Видите, я так и думала, что ваши волосы не выдержат завивки...

Вечером у себя дома Ольга Петровна плакала.

— Брось, — говорил муж, — ну что делать! Ты же, в конце концов, ее предупреждала...

— Чему это поможет, — всхлипывала Ольга Петровна, — раз уж я взялась завивать, выходит, что я виновата! Я ей теперь обещалась лечить волосы бесплатно и массаж головы и все... И за завивку, конечно, ничего не взяла. 'Гак это все неприятно. Будет она теперь всем рассказывать, что я ей волосы испортила.

— Брось, — сонным голосом сказал муж. Он понимал и сочувствовал, но ему страшно хотелось спать.

Хотя давно уже стало совершенно ясно, что в Шанхае ест как раз тот, кто не работает, а большинство работающих не ест, — Ольга Петровна с мужем работали с упорством маньяков, вставали на рассвете, возвращались домой в десять, не видели жизни, не успевали читать, и если бы кто-нибудь их спросил, зачем они так много работают, и устают, и надрывают свое здоровье, они бы очень удивились и сказали:

— А как же иначе?

И действительно, иначе было нельзя. Заработанного едва хватало на жизнь. Ольга Петровна, несмотря на свое высшее образование, которое в этом городе оказалось никому не нужным, уходила из дому рано утром с чемоданчиком. Она маникюрила, выщипывала брови, завивала, красила и из экономии бегала всюду пешком, а когда возвращалась домой, ей не хотелось ни есть, ни разговаривать, ни читать, а только спать, спать и спать. Муж Ольги Петровны выезжал из дому в 5 утра и что-то развозил на велосипеде, потом служил в какой-то конторе, зарабатывая гроши.

— Спи, Ольга, — сонным голосом пробормотал муж, — ну что в самом деле?

— Да, да, — сказала Ольга Петровна, — сплю.

Но долго еще не могла заснуть.

Тем временем Джюн сидела в кресле, курила и время от времени ощупывала свои изуродованные волосы.

— Можно, конечно, коротко остричь, но мне же не идет, — думала она и в сотый раз вставала, подходила к зеркалу и вспоминала, как еще три часа тому назад ее выкрашенные перекисью волосы доходили до плеч. Глаза ее наполнялись злыми слезами.

— Бесплатный массаж головы, — думала Джюн, вспоминая растерянные глаза маленькой худенькой женщины, которая ее завивала, — нужен мне ваш массаж! Сначала изуродовала, а теперь — массаж!..

Последнее время Джюн вообще была в отвратительном настроении.

— Деточку надо бы замуж, — рассказывала мать близким друзьям, — но за кого теперь выдашь? За моей деткой ухаживал один англичанин. Довольно состоятельный. Но я ей говорила: Женичка, подожди, дружочек. Сейчас такое время. Откуда мы знаем, что будет с англичанами? Ну и мать оказалась права. Сел англичанин в лагерь. И какой толк с его денег!

Немец один предложение делал. Не молодой, но денег много. Мы с отцом радовались. Это, конечно, между нами. Мы тогда еще не знали, какой они народ. Это еще в начале войны было. Кто знал, что они такие негодяи. И Майданек и все такое. И главное, подумайте, войну проиграли! Ну разве тогда можно было все это знать? Уж совсем было замуж выдали, да судьба помешала. Им запрещали на иностранках жениться и разрешения все не выходило. И уехал наш немец. Прямо повезло нам, а?

Я говорю и тогда говорила и теперь повторяю: Женичка, найди себе швейцарца. Самое лучшее. Никаких неожиданностей. Всегда они нейтральные и люди положительные и денег много. Да швейцарцев-то мало! А русские... вы знаете, мы хоть и патриоты и папочка наш на сталинградских детей каждый месяц жертвует, но вы поглядите на русских: все больше вочмана.

Вообще семья Джюн стала сознавать свою принадлежность к русской нации совсем недавно. До того Джюн по-русски говорила только с матерью. И «Женичкой» она была только для матери.

— У нас Женичка в американской шкоде училась. Кому русский язык нужен! — с гордостью говорила мать, сама не знавшая ни одного языка, кроме русского.

Последнее время иностранцев в городе было очень мало, Джюн приходилось бывать среди русских и говорить по-русски. Но ей было смертельно скучно. Закрыт был иностранный клуб, в котором она проводила все свое время, играя в теннис и бридж, а без этого клуба, без богатых иностранцев, без «аутов», жизнь иногда казалась Джюн невыносимой.

— Потерпи, деточка, — утешала мать, — кончится война, поедем в Америку. Папочка сделал большие деньги даже в переводе на американские.

Утром, после неудачной завивки, Джюн пошла в салон примерять новое платье. Но и это платье, — зелено-голубое, полотняное, — не развеселило ее.

— Скучно, — думала Джюн, — а тут еще эти волосы. Скучно.

Потом она отправилась в парикмахерскую, где все долго сочувственно всплескивали руками и, хотя ее обкромсанные волосы после стрижки и укладки выглядели вполне прилично, парикмахер все вздыхал и с лицемерным сочувствием говорил:

— Не то! Не то! Мадам, с вашим овалом лица нужно что-то другое. Мы можем вам продать дивные локоны. Ваш цвет. И с этими локонами у вас будет изумительная прическа. Изумительная!

Джюн шла домой и думала. Купить локоны или нет? Локоны стоят 80 тысяч. Просить опять у папочки? Но папочка только вчера дал на новую сумку. Мама так много не даст. Мама даст не больше, чем тысяч сорок. И вдруг у Джюн мелькнула блестящая мысль...

В четыре часа дня Джюн, пришедшая на массаж головы, сидела в маленькой комнате Ольги Петровны, курила, помахивала ногой в белой сандалии и говорила:

— Вы меня так обуродовали, прямо «shame»[1]. К моему овалу лица такая прическа не идет. Все говорят. В парикмахерской мне сказали, что нужны локоны и с ними можно будет делать vегу пісе[2]. Пришлось заказать. Я завтра аут иду. А у меня волосы такие. Вы знаете, я не хочу говорить мамочке, она такая нервная. Она может вам такой trouble[3] устроить. Но она, thank Goodness[4], пока ничего не заметила. Знаете, я думаю, что вы должны за локоны заплатить. Я знаю, что вы а working woman and so on[5] и поэтому я с вас только половину. Это только fair[6], если вы мне заплатите половину за локоны. See?[7] Ведь это же ваша вина.

— Как? — не поняла Ольга Петровна.

— Всего 40 тысяч. Small amount[8] — примирительно сказала Джюн.

— Вы хотите, чтобы я вам заплатила 40 тысяч? — переспросила Ольга Петровна.

— Quite right[9], — весело согласилась Джюн. — Мне же из-за вас приходиться локоны покупать.

---

[1] Shame — стыд, позор.

[2] Vегу пісе — очень хорошо.

[3] Trouble — неприятность, скандал.

[4] Thank Goodness — слава Богу.

[5] A working woman and so on — работающая женщина и так далее.

[6] Fair — справедливо.

[7] See — видите.

[8] Small amount — маленькая сумма.

[9] Quite right —совершенно верно.

Ольга Петровна подошла к письменному столу и открыла ящик. Там в жестяной коробке лежали деньги, которые она копила на ботинки для мужа... Его старые уже невозможно было чинить. Всего было 30 тысяч. Остальные десять Ольга Петровна вынула из своей сумки и отдала Джюн.

— Thanks[10], — сказала Джюн.

Лестница, по которой спускалась Джюн, была грязная и темная, и на повороте Джюн споткнулась и сказала «ауч». Внизу пахло чадом из кухни, было душно и рыдал чей-то ребенок. Джюн с содроганием подумала: как могут здесь жить люди?

На улице ей в глаза брызнуло горячее солнце, небо было синее, а впереди были новая прическа и новое платье. На душе Джюн вдруг стало легко и весело.

---

[10] Thanks — спасибо.

БАБУШКИН РУБИН

В 1944 и в начале 45-го года японцы производили массовые выселения, забирая дома для «военных надобностей». Спекулянты, пользуясь этим, брали громадные деньги за квартиры и комнаты.

Подойти к крану, открыть его, и потечет вода...

Удивили! Это не штука. К этому с детства привыкли.

Теперь привыкаем к другому: подойти к крану, открыть его, и вода не течет. Без воды живем уже вторую неделю. Ничего, привыкли. Таскаем ведра по двору. Некоторые вполне приспособились и поют что-то на мотив «Дубинушки», а остальные хором подхватывают «Эй, ухнем», а сосед снизу говорит, что ему все нипочем, потому что его дедушка был бурлаком.

Последнее время он стал говорить с волжским акцентом и, видимо, это помогает ему таскать ведра. «Мы — привышные» — говорит он и поет все больше песни без слов, что-то вроде «Ой да ой, эй-да эге-гей».

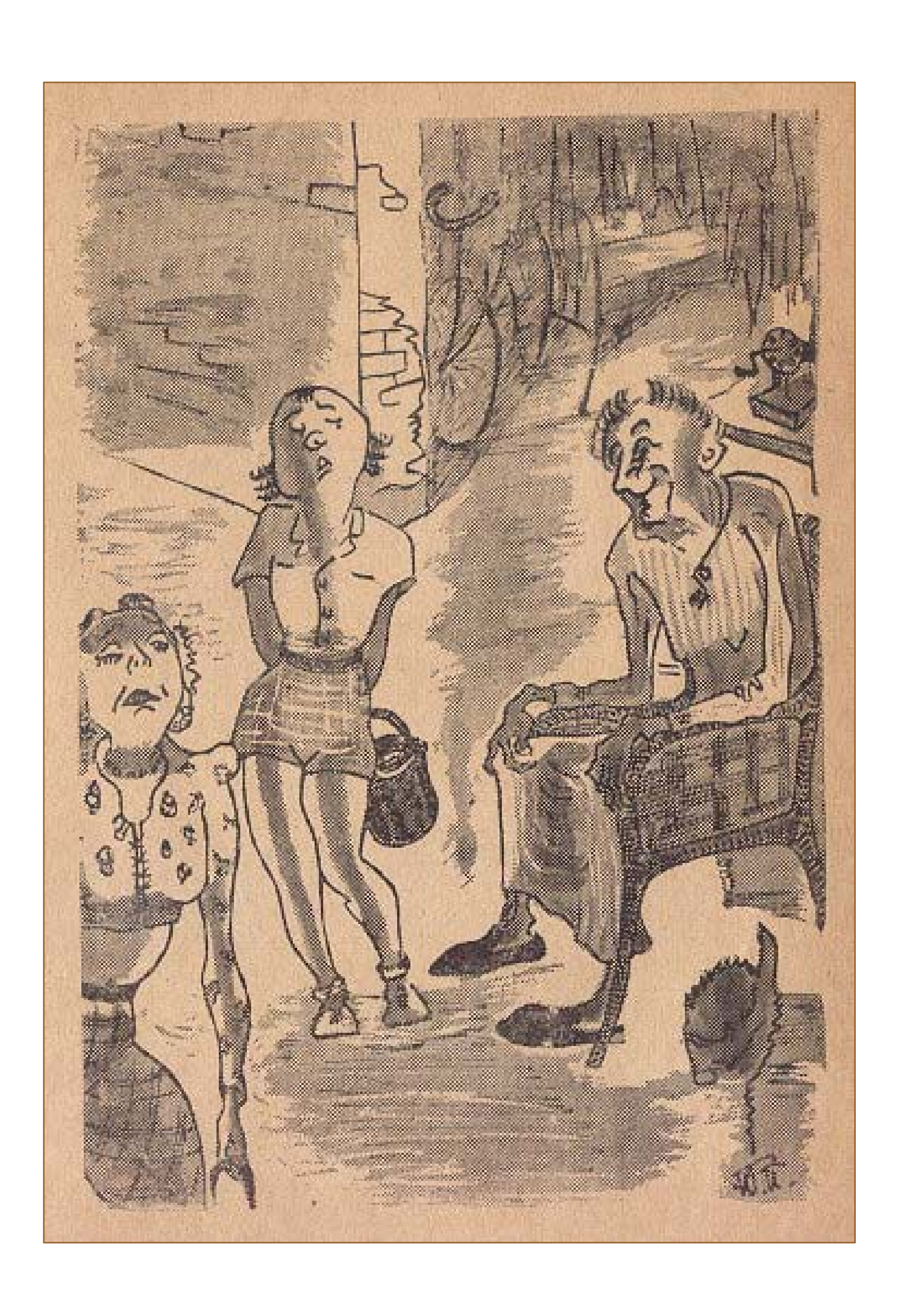
Воду, говорят, еще не откроют десять дней. Потому что перерасход. А перерасход произошел из-за того, что в бывший гараж внизу, переделанный предприимчивым хозяином в квартиру, переехало очень много людей. Сколько именно — так до сих пор и не сосчитали. Кто говорит, 8 человек, а кто утверждает, что 10. Точно удалось установить только, что там четверо малолетних детей с их родителями и престарелой бабушкой. Но есть еще какие-то таинственные личности.

Престарелая бабушка весь день греется на солнце. Ее выкатывают на двор в кресле, и она при виде процессии с ведрами ласково шамкает: «Бог в помощь». Но мы мрачно проходим мимо, позвякивая ведрами, как кандалами, и не оборачиваемся.

Мы считаем бабушку одной из виновниц нашего безводного жития. Именно после переезда в бывший гараж этой многочисленной семьи — потребление воды резко поднялось.

Восточная мудрость гласит: «Друг мой, делай так, чтобы чистоплотность твоя не была в тягость ближнему твоему». Впрочем, может быть, восточная мудрость тут не причем, но дело не в этом...

Престарелая бабушка тихо дремлет на солнце и, возможно, вспоминает свою далекую юность, когда цивилизация стояла на высшей ступени развития и не надо было бегать с ведрами за водой. Бабушкины внуки с воплями носятся вокруг. Они — очень веселые дети. Они пускают бумажные стрелы к нам в окна, а иногда, вместо стрел, бросают небольшие камни. По утрам они обычно ревут. Особенно выделяется тонкий фальцет старшей девочки и бас са-



мого маленького. Причина их утреннего дурного настроения неизвестна... Сосед, у которого дедушка был бурлаком, в минуту откровенности признался, что иногда чувствует себя способным на детоубийство...

Зато хозяин дома очень веселится. Многочисленные обитатели гаража, которых откуда-то выселили в короткий срок, в приступе отчаянья заплатили за свой гараж много тысяч. Откровенная бабушка шамкала что-то насчет того, что пришлось продать ее последнюю уцелевшую фамильную драгоценность. Какую-то брошь, которую подарила ее тетке, бывшей фрейлине, вдовствующая императрица. Бабушка тяжело переживает потерю своей фамильной драгоценности и все смотрит старческими слезящимися глазами в одну точку, нисколько не обращая внимания на резвящихся вокруг нее внуков. Она все останавливает нашу процессию с ведрами и все пытается подробно рассказать про свою родственницу-фрейлину и про монаршью ласковость к ней вдовствующей императрицы, и про брошь, которая была не то в форме змеи, не то, наоборот, в форме сердца, и про рубин, который был в этой броши. Но мы тащим воду и нам не до рубинов.

Короче говоря, хозяин дома на бабушкином рубине и на выселении хорошо заработал, и теперь почти каждый вечер из его окон несутся веселые вопли гостей: там пьют водку и громко поют. В минуты просветления хозяин дома вспоминает про нас и набавляет нам на квартиры. Или посылает сказать, что мы должны сообща чинить крышу, которая разваливается. Или сарай, в котором стоит его автомобиль. Или забор. Вообще этому человеку трудно отказать в воображении. Мы чиним. И платим. Потому что сейчас с хозяином лучше не спорить... Потом он, успокоившись, продолжает пить и веселиться. Сосед, у которого дедушка был бурлаком, мрачно утверждает, что хозяин пьет не водку, а нашу живую кровь. Впрочем, надо заметить, что у соседа дурной вкус, выражающийся в любви к пышным фразам.

А бабушка иногда устремляет взгляд, горящий мрачным огнем, на хозяйские окна, грозит костлявым пальцем и бормочет, что ее рубин и чужие несчастья хозяину добра не принесут.

«На несчастьи других своего счастья не построишь», — бормочет бабушка, когда ее под вечер катят в кресле домой. И хотя ее седая растрепанная голова на фоне пылающего заката и гневные старческие глаза являют собой внушительное зрелище — слова ее, насчет чужих несчастий, сильно отдают хрестоматией, чем-то очень отжившим и наивным, и им никто не верит.

Всем ясно, что бабушка—человек старого воспитания и отстала от установок современной жизни.

Обитатели гаража рассказывают, что их бывшие соседи все еще живут в доме, откуда всех выселяют. Переехать им некуда — у них не нашлось бабушки с рубином. Поэтому кто-то предложил раски-

нуть шатры на каком-нибудь пустыре. Идея многим выселяемым понравилась. Те, которые жили на то, что сдавали комнаты со столом и, следовательно, лишаются заработка, решили зарабатывать тоже чем-нибудь цыганским: гадать или ходить по дворам с медведем. Пока еще вопрос находится в стадии обсуждения...

А газеты, тем временем, радостно сообщили, что скоро будут выдавать по карточкам пять фунтов угольной пыли.

Это известие очень взволновало бабушку, которой внучка по вечерам иногда читает вслух газету. Бабушка все останавливает нас и просит объяснить, почему надо радоваться, получая пыль.

— Нынче такие странные вещи пишут, неспа, мешерзами?* — шамкает бабушка.

Объяснить это трудно. Да мы и не пытаемся.

Иногда она в забывчивости поет дребезжащим голосом старинные цыганские романсы. Особенно она любит один, с которым у нее, по-видимому, связаны какие-то воспоминания:

«Все сметено могучим ураганом, и нам с тобой свобода кочевать...»

Мы представляем себе шатры и горящие в ночи костры выселяемых и думаем, что вот этот романс нисколько не устарел...

Снизу доносится лязганье ведер и в окно влетает небольшой, но острый камешек. Это веселятся бабушкины внуки.

Сосед, у которого дедушка был бурлаком, затягивает какую-то заунывную песню.

Надо брать ведро и идти за водой...

---

* От франц. n'est pas, mes chers amis — Не так ли, дорогие друзья? (*Прим. ред.*).

ХОЗЯИН

(С НАТУРЫ)

— Ниночка, уложите даму...

— Мадам, вы еще не высохли. Потерпите минут пять...

— Вас только окрасить или пощипать тоже?

Была обычная атмосфера парикмахерской... Маникюрша громко требовала воды, а раздраженный дамский голос произносил:

— Я же вас просила покрыть мне цикламеном!

Все было как водится... У мастериц уже с утра вид был усталый.

— Встала в пять, — доносилось из угла, где шептались две «свободных», — постирать надо было. Вчера вернулась в 10 — по домам еще бегала на завивку — и заснула как мертвая. Пока постирала, пока ребенка накормила...

За кассой возвышался мощный бюст хозяйки. Хозяйка сидела весь день неподвижно, но работы у нее было по горло. На ее пухлом и красном лице лихорадочной жизнью жили маленькие злые глаза. Этим глазам не было ни секунды покоя. Надо было все видеть, все замечать. Давеча, не уследи она, дама ушла бы, не заплатив за сетку. Она ясно видела, что дама спросила у Нины сетку, а когда расплачивалась, про сетку — ни слова. Ну сетка, конечно, грош стоит, но сегодня сетка, завтра сетка... Хозяйка сидела неподвижно, только глаза ее шмыгали по сторонам и иногда по бюсту проходила волна; хозяйка раздражалась.

— Куда, — шипела она так, чтобы клиентки не слыхали, — куда тянешь полотенце?

— Как куда? Надо! Старое совсем грязное. Вытирать клиентку неудобно.

— Положь. Положь на место! Тебе известно, сколько мыло стоит? Не на твои деньги мыло покупается, тебе и все равно. Положь! Обойдешься!..

У хозяина и хозяйки была «отеческая» манера обращаться к служащим на «ты». Каждую новую мастерицу, поступающую на работу, они рассматривали как свою крепостную. Время военное, «девочкам» деваться некуда, а тут они работают, зарабатывают, правда, немного, но таким дурам и этого хватит...

— ДРРРР, — верещал телефон.

— Положь, положь мыло, — шипела хозяйка, и по бюсту ее проходила волна, — там еще омылок остался...

— Я извиняюсь, — раздраженно кричала какая-то дама под сушилкой, — вы сказали, что через 20 минут будет готово, а я сохну чуть не час.

— У вас, мадам, волос толстый, — говорила мастерица, — вы дольше просыхаете, чем другие.

— Какие в Америке композиторы замечательные, — восторженно рассказывала клиентка маникюрше, — один там есть, ну прямо джиниуз![*] Ему какую музыку ни дай, все на фокстрот переделает! Ей-Богу!

Была суббота и, несмотря на военное время, в парикмахерской было полно.

— Хлоп! хлоп! хлоп! — это сам хозяин, прохаживаясь по «салону», бил на стенах мух. Давно прошло то время, когда он, начиная свою карьеру, носился как безумный, кланялся дамам, и щипцы сверкали в его молодых тогда руках, как маленькие голубые молнии. Теперь он давно не работает. Очень редко, с видом величайшего одолжения, он собственноручно завивает какую-нибудь клиентку. Руки его уже потеряли прежнюю гибкость, и завивка обычно бывает скверной, — но клиентка уходит довольная, загипнотизированная видом величайшего снисхождения и блестящей репутацией хозяина, о которой она, впрочем, слышала только от него самого...

— Хлоп! Хлоп! — деловито трещала хлопушка. Парикмахерская пустела, начинался час перерыва. Две дамы сидели под машинами и при них, следовательно, можно было безопасно поговоритъ. А хозяин, от безделья, любил поговорить.

— Что бы вы без меня, дуры, делали, — начинал обычно хозяин, — сдохли бы на улице, как бездомные собаки!..

Привыкшие к этому элегантному стилю беседы, мастерицы продолжали заниматься своими делами.

— Подобрал вас, — продолжал хозяин, — делу выучил!

— Оставьте, Вячеслав Иваныч, — не выдерживал кто-то, — мы и без вас наше дело знали.

— Молчать! — рычал хозяин, — с тобой не говорят. Разговорилась! Так вот-с. Купил это я серебряные доллара, а продавать пока не собираюсь. Цена-то на них все вверх ползет. Ну и барчики, конечно, имеются. Кабы не вы, дуры, барчиков больше бы было. С вами только раззор один. То сетку не запишут, то полотенец тьму изведут (по бюсту хозяйки проходила волна). И вообще: зачем мне вас такую ораву? Только из жалости и держу. А то передохнете. Тоже дуры! На гражданство советское подали! Там вот таких, как вы, только и надо. Уж, поверьте, знаю я, что это за власть. Разве мне бы там дали нажиться? Я вот здесь хожу, мух хлопаю, а вы на меня работаете. Хе-хе! Умные пускай отдыхают, а дураки трудятся.

— Вячеслав Иваныч, — сказала одна из мастериц, — мы вас просим в нашем присутствии насчет советской власти... чтобы вы не оскорбляли. И потом...

---

[*] Genius — гений.

— Молчать! Кому не нравятся мои разговоры — к черту! Ты думаешь, я, Верка, не знаю, что ты по домам бегаешь на завивки? Я тебе покажу завивки. Сказано: кто желает по домам бегать — мне половину.

— Так ведь вода и мыло там не ваши, Вячеслав Иваныч. И стены тоже. Почему мы должны вам платить? И разве мы не имеем права в свободное время подрабатывать?

— Не имеете. Разговорились! Нищие! Из грязи подобрал. Распустили вас, нищих. Гитлер это понимал, умный был мужик. Не сумел. Жаль. Лидка, твоя клиентка уже побагровела, под машиной сидючи. Ты что на меня уставилась? Ты на нее гляди. Дура. Вынь ее из под машины...

И хлопушка начинала ходить по стенам с новой силой.

В таком духе хозяин мог беседовать ежедневно. Когда же разговаривагь в его любимом тоне было неудобно, он бормотал что-то себе под нос, и, находясь близко, можно было услышать:

— ... Чтобы я когда-нибудь взял этот паспорт — да ни в жизнь! Если предложат на выбор: Соловки, мол, или паспорт — ну тогда возьму. А так — нашли дурака!

— Хлоп! — яростно подтверждала хлопушка, и очередная муха расплющивалась на стене.

После обеда приходили усталые от жары и домашних хлопот мастерицы. Дома надо было накормить мужа, уложить ребенка, что-то выстирать... Не дай Бог опоздать на службу, ибо хозяин, уже прогуливавшийся с хлопушкой, завидев запоздавшую, орал:

— Нинка, опять на 10 минут позже! Я тебе покажу опаздывать! И когда входишь, кланяйся. Кланяйся и говори: «Здрассте, Вячеслав Иваныч». Я вас выдрессирую! Будете у меня по ниточке ходить!..

— Да мы и так здороваемся. Что вам от нас надо?

— Не так здороваетесь! Уважение к хозяину надо показывать. Неучи. Дуры.

Вечером происходил расчет. По бюсту хозяйки заранее проходила волна. Перебирая толстыми, красными пальцами какие-то бумажки, она говорила:

— А ты, Катерина, сегодня два раза по телефону звонила. Минус тысяча.

— Почему тысяча? Для служащих вызов 300 долларов.

— Это кто сказал? А? Ну, не знаю! Значит, минус 600. Расческа, мытье. Так. Минус 7 тысяч за мыло.

— Вячеслав Иваныч, почему за мыло семь тысяч? Никогда мыло на одно мытье столько не стоит!.

— А! Ну, значит, за полотенце. И вообще отвяжитесь. Сказано: семь, значит, семь. Я для вас тут мух бью, за это и высчитываем, ха-ха! Не разговаривать. Не нравится — к черту! Не держу! К черту!

И вот как-то шесть мастериц, после очередной сцены вечернего расчета, заявили, что больше работать не будут, — хозяин был поражен до глубины души. Эти тихие, бессловесные женщины, почти каждый вечер уходившие домой в слезах после бесстыдных обсчетов и хозяйского «остроумия», вдруг заговорили:

— Не можем больше. Вот... Все решили! Хватит на нас ездить!.. Всю войну терпели.

— И не в деньгах дело. А надоели нам ваши оскорбления.

— Именно. Нас оскорбляете. Родину нашу оскорбляете. Не желаем больше...

— Лучше голодать, чем у вас работать...

По бюсту хозяйки шла настоящая буря. Хозяйка задыхалась...

— Лидка, — кричала она. — Ты мне еще 300 долларов за вызов телефонный не заплатила. Мерзавки!

Хотела сказать еще что-то, не нашлась, бюст ее волновался, глаза готовы были выпрыгнуть.

Хозяин, сначала молчавший от удивленья при «бунте рабов», вдруг обрел дар речи:

— Вон, — орал он, топая ногами, — вон! Не вы уходите, я выгоняю! Вон! Выгоняю за то, что по домам тайно бегали на завивки и мне не платили... Вон!

Потом в парикмахерской стало пусто и почти темно. Горела лишь лампочка у кассы. Хозяин прохаживался со своей хлопушкой, и на лице его было написано тяжелое недоумение.

Он искренне не понимал, в чем дело. За годы «власти» он привык самодурствовать и безнаказанно говорить все, что ему нравилось, так что случившееся не укладывалось в голове. Вдруг, нате, обиделись! Ушли!..

И оскорблял-то он часто не со зла, а по привычке, — что с нищими, подневольными считаться?..

Он ходил по полутемной парикмахерской, и «хлоп, хлоп» его хлопушки звучало удивленно, обиженно и негодующе.

— Вяченька, — сказала жена, все еще считавшая деньги, — тут 800 долларов не хватает. Видно, не углядела за сетками. Поди теперь ищи их. Горе какое!

— Отстань! — обозлился хозяин.

Ушли. Куда ушли? Может быть, к конкуренту? Сейчас война кончилась, везде огни, парикмахерские заработают. А тут пусто, темно... Ничего, наберу новых! Дур много. Я их выдрессирую. По ниточке будут... Но война кончилась. Дурам теперь легче жить станет... Может, набрать новых будет не так просто? Ничего. Наберу. Выдрессирую!

— Выдрессирую! — громко и злобно крикнул он.

— Ты о чем, Вяченька?

— Ни о чем! Отвяжись...

И хлопушка сказала «хлоп» с убедительной яростью.

ВОПЛЬ ШАНХАЯ

Утром женщины вооружаются корзинками и идут на базар.

На базаре пахнет сырым мясом и чем-то непонятным, но чрезвычайно неприятным. У непривычного человека на базаре кружится голова от этих сложных запахов, от слякоти на каменном полу, от гула голосов и выкриков продавцов. Поэтому для начала рекомендуется ходить с опытным человеком, с какой-нибудь знакомой, знающей все ходы и выходы. Она будет идти вперед решительной походкой человека, твердо знающего, что ему нужно, а вы будете плестись вслед за ней, стараясь сохранить равновесие на скользком полу.

Мимоходом она будет вас учить жизни, показывать, что на этом лотке продают только «буффало»*, а там торгует овощами торговец, известный своей нечестностью, и покупать у этого торговца ни в коем случае нельзя. Видя вашу опытную знакомую, нечестный торговец выразительно и презрительно сплевывает на пол, а она, гордо вздернув голову, проплывает мимо, и вы сразу понимаете, что между этими двумя существует давняя и крепкая вражда.

Потом вы подходите к другому овощному лотку, у которого в позе глубокого отчаянья застыли фигуры с корзинами в руках, и узнаете новую цену на картошку и тоже застываете в позе отчаянья. Ваша опытная знакомая не теряется, ставит корзину на пол и, подбоченясь, начинает наступать на торговца. Между ними происходит красочный и яркий диалог на неизвестном лингвистам, но всем нам понятном языке, в результате торговец понижает цену, ваша знакомая успокаивается, и начинается церемония взвешивания.

Вы идете дальше, стараясь не поскользнуться на рыбьей чешуе, а ваша знакомая останавливается, поднимает большую рыбину и устремляет внимательный взор ей под жабры. Что она там видит, неизвестно, но на лице ее отражается неудовольствие, а вы с тоской чувствуете, что сложному искусству покупать на базаре надо терпеливо и долго учиться, и не каждому это искусство дается.

— В этих чертовых китайских весах я тоже ничего не понимаю, — признается ваша наставница, — а только надо делать вид, что вы все понимаете. Тыкайте пальцем и кричите: «Но коррект! Мор, мор!»** — и он обязательно прибавит.

А вокруг снуют представительницы прекрасного пола, вышедшие на утреннюю борьбу с жизнью, и решительна их поступь, а корзины в их руках напоминают оружие.

---

* «Буффало» — буйволово мясо.

** «Но коррект!» «мор!» — Неправильно! Больше!

Среди них вы видите вчерашнюю «фам де люкс», которую можно было встретить раньше только в парикмахерской или в кафе. На ней почему-то надеты зеленые пижамные штаны — может быть, это специальный костюм для базара? Палец с красным ногтем угрожающе тычет в грудь мясного торговца. «Фам де люкс», видимо, уже освоилась с новой жизнью.

Вокруг гул голосов:

— Ливер. Уот? Севен?* Люба ты слышишь? Они с ума сошли!

— Буффало! Что он мне говорит? Я же вижу: буффало и буффало!

— Так ты дай на обед баранину.

— Как я могу дать баранину, когда у Исая расстройство. Ты же знаешь его желудок! Это не желудок, а горе жены.

— Боря немного заработал, так я хочу купить на четыре дня.

— А что? Вы что-нибудь слышали?

— При чем тут «слышали?» А просто спокойнее. Мало ли что...

— ... Из туфы**. Совсем получается как творог.

Потом вы идете домой, и вокруг привычные и обычные картинки Шанхая.

На тротуарах валяются нищие, и мимо них, не глядя в их сторону, быстро и равнодушно проходят люди и бойко торгует переносный «съестной лоток», и тут же на тротуаре живет своей жизнью вся семья торговца, прихватив с собой самого маленького, который лежит в корзине, укутанный в какое-то тряпье.

Неподалеку пристроился цветочный торговец, и бледные розы вянут в жестяных банках на тротуаре. Дети его с нежного возраста приучаются к древней и освященной традициями профессии — торговле. Шестилетнее существо деловито пересчитывает деньги, а другое существо постарше, в косичках, торгуется с покупателем, сплевывает и презрительно отмахивается.

Через каждые пять шагов вы натыкаетесь на торговлю. На тротуаре разложены полотенца и носовые платки, и прохожие с привычной ловкостью перешагивают через них. На перекрестках стоят какие-то возбужденные и жестикулирующие люди:

— ...Продать... перепродать... купить... перекупить...

Женщины с корзинками идут по тротуарам, перешагивая через полотенца и платки, обходят валяющихся и вопящих нищих, проталкиваются сквозь толпы продающих, «взывающих и глаголящих», идут сквозь душную атмосферу торгашеского города, и первое, что слышат они, перешагивая через порог, это голос своего безработного мужа, висящего на телефоне:

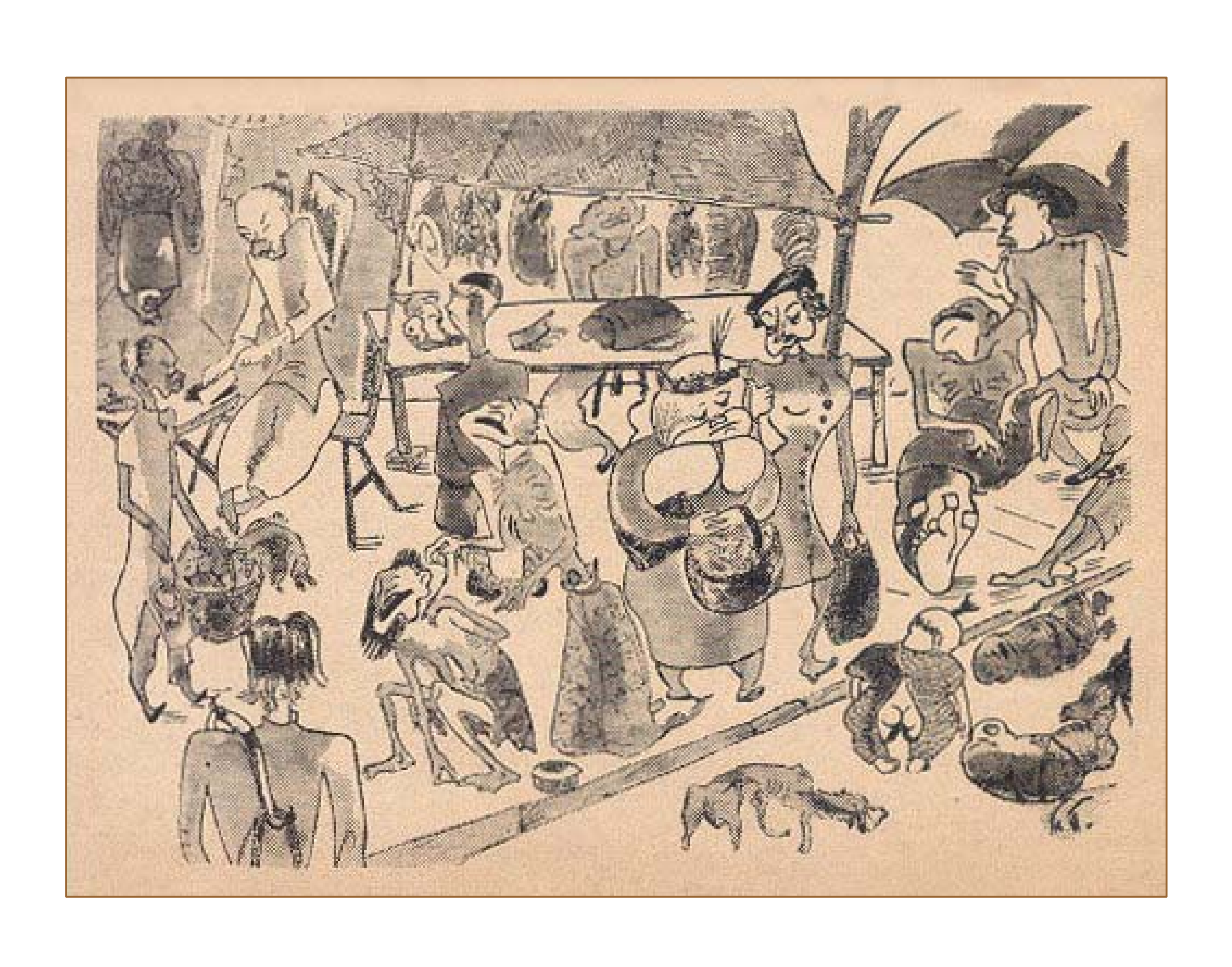
— ...Продать, — говорит муж, — перекупить... чем мы рискуем?..

Когда-то безработный муж был инженером и ходил на службу, и оживленно рассуждал о каких-то котлах, и был похож на человека.

---

* «Уот? Севен?» — Что? Семь?

** Имеется в виду тофу, продукт из соевых бобов, распространенный в Китае (*Прим. ред.*).



ка. Сейчас это задерганное существо с блуждающими глазами. Он бормочет о какой-то бумаге, на которой ловко заработал его знакомый, и о том, что если бы был хоть небольшой капитал, можно сделать много денег.

В этом городе торгуют все: инженеры, профессора, химики, педагоги, лингвисты. Все поняли, что от науки не проживешь. Надо торговать.

Женщина, все утро толкавшаяся на базаре, садится на корточки разжигать хибач, и в голове у нее ничего нет, кроме лихорадочно скачущих цифр: сало — три тысячи, печенка — три, картошка — две. Куда же ушли остальные три тысячи?

— Через полчаса на углу встретимся, — слышен голос мужа, — не продавайте, пока я не приду. Двести тысяч. Не меньше!

Хибач дымит. В голове бешено скачут цифры.

С улицы доносится тихий равномерный звон. Дзинн. Дзонн. Дзинн. Дзонн.

Это звенят деньги. Серебряные доллара.

Их покупают. Их продают.

— Когда у вас завелись лишние деньги — покупайте доллар. Цена поднимается. Цена падает... Восемь тысяч... Семь тысяч. Что семь тысяч? Доллар или печенка?

От хибача кружится голова.

— Древесный уголь — тысяча рублей. На сегодня — две тысячи. Опять не разгорается? 11 тысяч. Куда пошло три?

— Дзинн. Дзонн, — звенят деньги на шанхайской улице.

— Где моя шляпа? — кричит в передней бывший инженер, а теперь... как их называют,— брокер? комиссионер? — Может быть, выйдет хорошее дело. К обеду не вернусь!

Дзинн. Дзонн, — звенят деньги.

Деньги, деньги. Тысячи, сотни тысяч, миллионы... Ничего нет в жизни, кроме денег...

Внезапно, покрывая этот нежный серебряный звон, с улицы раздается протяжный вопль нищего. Он лежит на тротуаре, подняв неподвижные слепые глаза к серым равнодушным облакам, и кричит на одной ноте.

Это вопль Шанхая.

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ СВИНЬИ

Всем известно: каждый город имеет свое лицо. И человек, долго живущий в определенном городе, пропитывается его атмосферой.

Северная Пальмира, чиновничий Санкт-Петербург дал нам тип «петербуржца» и вы сразу понимали, что означает это слово. Вы видели перед собой вежливого человека, застегнутого на все пуговицы, немного ироничного, лишенного всяких сантиментов.

Радушная хлебосольная Москва дала другой тип. Москвич был гораздо более чуток к искусству, чем петербуржец, и если холодный Петербург не принял чеховского «Иванова» и «Чайка» провалилась в Александринском театре, то Москва сделала Антона Павловича великим драматургом. Сейчас времена другие, и тип ленинградца ничего общего не имеет с петербуржцем, потому что изменился город, изменилась его атмосфера и, следовательно, изменились люди.

И Париж, и Лондон, и все большие города с яркой индивидуальностью имеют свой тип людей, порожденный этими городами.

Какой же тип порожден Шанхаем? Этому городу нельзя отказать в индивидуальности...

***

Я сидела в кафе, спасаясь от сильного ливня. Перед окном были два жалких дерева, они стонали и гнулись от ветра. Небо было свинцовое и по опустевшей улице мчались потоки воды. В этом внезапно налетевшем ливне было что-то стихийное и грозное, немного страшное. И помню, я задумалась, глядя в окно на эти гнущиеся под порывами ветра деревья, я вспомнила тех, кто борется сейчас и умирает. В голову пришли стихи Блока:

Крест и насыпь могилы братской,
Вот где ты теперь, тишина!
Лишь щемящей песни солдатской
Издали доносилась волна...

Я думала об этих людях, отдававших свои жизни во имя будущего, во имя того дня, когда стихнет гроза и уйдет свинцовая туча, нависшая над Россией, того дня, когда засияет солнце и выпрямятся деревья.

В этот момент шумно ворвалась в мою жизнь Марья Петровна.

На улице мы с ней говорили друг другу: «Здравствуйте». Этим ограничивалось наше знакомство.

В кафе нам пришлось познакомиться покороче.

— А я смотрю, кто-то будто знакомый, — щебетала Марья Петровна, деловито устраиваясь за моим столиком и развешивая дождевик на спинку стула, — вы, верно, тоже из-за дождя? Я уж тут полчаса, а уйти нельзя. Хорошо, что вас встретила, хоть поговоришь! Ливень-то, а? Валечка мне говорит: «Мама, возьми дождевик!» А я ни за что не хотела. — Жарко, говорю, Валечка, а выхожу, смотрю, туча ползет, нет, думаю, лучше взять... Барышня, дайте мне еще кофе... и хорошо, что взяла, не успела, знаете, сесть в трамвай... ну да, я же говорю — кофе! Пирожных не надо. Или нет, дайте! Так о чем это я? Да, так не успела я сесть в трамвай... А вы, между прочим, очень плохо выглядите! Вам нельзя этот цвет, он вас старит. Да, да, не обижайтесь! Старит! И потом я как-то вас видела, у вас другая прическа была. Так она вам лучше. Эта вас, извините, уродует. Барышня, еще сахару...

Потом Марья Петровна сделала паузу, в течение которой она размешала сахар и попробовала кофе. Затем неожиданно спросила:

— Скажите, вы не знаете, когда война кончится?

Я ответила, что не знаю.

— А у вас в газете ничего не говорят?

Я ответила, что в газете тоже не знают.

— А я бы хотела, знаете, чтобы поскорее кончилась, — заявила Марья Петровна, — надоело, знаете...

Я сказала, что в этом желании нет ничего оригинального и необыкновенного.

— Что вы! — перебила Марья Петровна, добродушно улыбаясь, — а представьте себе, во время той войны мы с мужем очень хорошо жили, мы за границей всю войну провели, и он много зарабатывал. Муж не воевал, у нас связи были. А теперь он уж покойник, мужчины в доме нет, некому мозгами пораскинуть, подумать, как обстоятельствами воспользоваться, а прибыли никакой. От этой войны только неудобства и терпишь... Что с вами? Почему у вас такое странное лицо? Может быть, в кофе что-нибудь попало? Здесь вообще кофе отвратительное!

— Нет, — сказала я, — ничего. Я просто поперхнулась.

Марья Петровна успокоилась и продолжала:-

— У меня знакомая есть, так у нее муж очень хорошо зарабатывает. По пятьдесят тысяч в день только на еду тратят! Так они не хотят, чтобы война кончалась. Недавно вот какой-то предсказатель сказал, что война через два месяца кончится. Так знакомая даже расстроилась. У них с мужем все рассчитано: если вот еще, предположим, год война, так они столько-то заработают. А тут че-

рез два месяца! Я, конечно, их понимаю, мне лично от этой войны никакой прибыли...

— Я, знаете, откровенно скажу, сначала не хотела, чтобы советские выигрывали. У нас с мамочкой до революции в Саратове домик был. В двух комнатах сами жили, две сдавали. Бросить пришлось. До сих пор сердце кипит. И уж потом мы с мужем хорошо жили, дом полная чаша, а как вспомню — садик наш, и в нем скамейку зелененькую, да еще бризбизы на окнах, — кипит сердце! НАШЕ было, и пропало! 'Гак я сначала думала: пускай, думаю, их теперь побьют хорошенько за домик за наш. А теперь, наоборот, хочу, чтобы выиграли. Потому что из-за англичан. Они ведь союзники. А У Валички жеиих — англичанин. Он, правда, еще не жених, но вроде. Я ведь запретила венчаться. Я ей говорю: — дура, еще сначала надо знать, кто войну выиграет. А он, может, все свои деньги потеряет? Вот, говорю, если они войну выиграют, да служба у него будет прежняя, тогда другое дело. А у приятельницы моей, между прочим, у дочери жених — немец. Так она за немцев горой! Мы с ней иногда ссоримся насчет политики...

Почему-то стало невероятно душно, пахло кофе, начинала болеть голова. И настойчиво, упорно, под лепет Марьи Петровны, что-то вспоминалось, что-то как будто нужное... Какие-то слова. Строчки какого-то стихотворенья.

— ... Ссоримся, — говорила Марья Петровна, — насчет политики...

И, засмеявшись, издала звук, сильно напоминавший хрюканье.

Вот оно:

«Да, я свинья и песнь моя в хлеву победна и сильна!

Всегда одна, звучна, ясна и откровенности полна: я гордо, смело говорю: хрю-хрю...

Луны и солнца свет, цветов благоуханье, пусть воспевает вам какой-нибудь поэт, худое, жалкое, голодное созданье. А я свинья, хрю-хрю, до них мне дела нет...»

Марья Петровна продолжала:

— Хрю-хрю, — говорила она, — самое лучшее для женщины не иметь никакого образования. Дурам легче жить. Вот я, слава Богу, никакого образования не имела, а всю жизнь с комфортом прожила. Муж на руках носил. Только и забот бывало, что фасон нового платья выбрать...

А у меня в голове опять пели строчки:

«Что родина? По мне корыто, где пойло вкусное, где щедро через край для поросят моих и для меня налито, вот родина моя, вот светлый край!»

— Хрю-хрю, — продолжала тем временем Марья Петровна, — я Валичке говорю — самое лучшее найти какого-нибудь нейтрального. Вот Лиля Пустомелева подцепила себе датчанина. Ни кожи, ни рожи у этой Лили, ноги кривые. А вот подцепила! Пять миллио-

нов в месяц зарабатывает. Это вам не русский. Принесет домой триста-четыреста тысяч, и что хочешь, то и делай...

«Пускай колбасники торгуют колбасой, из братьев и сестер готовят ветчину. Мне что? Ведь я жива! Я жру свои помои. И слыша рев и визг, и глазом не моргну...»

— Вы улыбаетесь, — хрюкала Марья Петровна, — вы знаете Лилю, да?

— Нет, не знаю. Прощайте, мне уходить пора.

— Погодите, куда вы! Дождь еще не перестал. Вот какая упрямая! Барышня, счет! А я еще посижу немного.

«Да, я свинья и не стыжусь. Да, я свинья и тем горжусь. И гордо, смело говорю, хрю-хрю».

Уже в дверях я слышала:

— Барышня, почему вы поставили три пирожных? Я твердо помню, что съела только два!

На улице еще был сильный дождь, но мне нравилось, что он хлестал мне в лицо.

И хотелось долго идти навстречу дождю и ветру...

«ПОДХАЛИМАЖ»

Николай Степанович сидел в кафе за маленьким столиком и помешивал ложкой в бурой жидкости, выдаваемой за кофе.

В центре за круглым столом восседал толстый человек, известный богач, на чем-то сделавший громадные деньги, владелец крупного предприятия. Вокруг него сидели три каких-то личности неопределенного вида. Одна из личностей говорила:

— Вы еще не видели новой квартиры Петра Ивановича? Ну, много потеряли! А в гостиной один ковер чего стоит. Громадный вкус, громадный...

— Хе-хе, — сыто усмехался Петр Иваныч и вдруг чихнул.

— Петр Иваныч, да вы простужены, — хором завопили три личности, — вам, Петр Иваныч, поберечься нужно.

— Теперь такая переменчивая погода...

— Днем жара... ночью холодный ветер...

— Вам бы не выходить... У вас, может быть, жар...

— Петр Иваныч вроде меня, хе-хе... У меня вот тоже жар, мне жена говорит: ты бы дома посидел. А я нет. Я все равно на работу бегу.

Это дерзкое и панибратское сравнение Петра Ивановича с самим собой двум остальным личностям не понравилось. Но Петр Иваныч улыбался добродушно. И личности возобновили разговор.

«Вот, — думал Николай Степанович, — мало меняются люди. Они, конечно, уже не говорят гоголевским слогом, запинаясь от почтения, вроде “ва-ва-ваше превосходительство”, или: “блестящее образование, которое, так сказать, чувствуется в каждом вашем движении»... Да, слогом этим уже не говорят, но дух остался бессмертный, гоголевский...»

Одна из личностей, видимо, конторский служащий Петра Иваныча, говорила:

— Не хвалясь могу сказать: дело свое люблю. Да с таким начальством и работать приятно! Иногда приходится на счетах щелкать до позднего вечера. Мне и сам Петр Иваныч сколько раз говорил: бросьте, завтра досчитаеге. А я домой не уйду, пока не сделаю. Такой уж характер странный.

Так, много лет назад, в маленьком русском городке городничий говорил Хлестакову:

— Верите ли, даже когда ложишься спать, думаешь: «Господи Боже мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно. Наградит оно или нет, конечно, в его воле, но по крайней мере я буду спокоен в сердце».

Личность рассказывала о своем прилежании, глаза Петра Иваны-



ча ничего не выражали, но зато две остальных личности глядели мрачно и, верно, думали так же, как Артемий Петрович Земляника:

«Эк бездельник как расписывает. Дал же Бог такой дар!»

Да, столетие прошло, а дух гоголевский неувядаем, бессмертен.

Разговор коснулся литературы:

— Случайно недавно напал на чеховские пьесы, — говорила одна личность, — подвернулись под руку, а делать было нечего. Просто смешно читать, ей Богу! И кому этот Чехов нужен? То ли дело наши советские пьесы. Разве сравнишь!

— Напрасно вы так думаете, — перебил Петр Иваныч начальственным тоном, — еще ни один советский писатель по мастерству не сравнялся с Чеховым. Прежде чем говорить, вы бы лучше почитали, что по этому поводу пишет «Литературная газета». Призывает советских драматургов учиться у Чехова писать пьесы.

— Э-э, в общем, вроде как будто, — забормотала личность, — если в общем смотреть с другой стороны, на, так сказать, мастерство, да, да вот именно мастерство, то тогда конечно...

— Чехов — великий писатель, — безапелляционно заявила другая личность (мнение Петра Иваныча на этот счет было уже известно и высказываться можно было уже безопасно). — В СССР Чехова ставят на огромную высоту...

— Да я же и не говорил, что он не великий, — засмущалась первая личность, — вы меня не так поняли... Я говорил, что он просто немного устарел, но, конечно, с другой стороны в общем и не устарел, потому что, конечно...

«Случай самого неприкрытого подхалимажа, — думал Николай Степанович, помешивая ложечкой в своем уже остывающем кофе. — Мало, выходит, меняются люди! А жена этого Петра Иваныча стоит сейчас, верно, в каком-нибудь салоне дамских нарядов и у ног ее, вымеряя длину подола, ползает какая-нибудь портниха. И говорит:

— На вас, мадам, шить одно удовольствие. Вы, конечно, немного полноваты, но зато у вас такая пропорциональная фигура... На вас шить одно удовольствие... Вы говорите, на бюст еще рюшечку положить? Верно, верно! Как это я сама не догадалась. У вас такой тонкий вкус, мадам. С вашим вкусом вы могли бы с успехом открыть свой салон, но, конечно, к чему вам это!

Толстая жена Петра Иваныча, отдуваясь, стоит перед зеркалом и на ее широкой красной физиономии застыло выражение скромного торжества. С тех пор, как ее муж бешено разбогател, ей безбожно и бесстыдно льстят каждый день, и она так привыкла к этому, что всему верит...

Да, — продолжал думать Николай Степанович, сидя за давно уже холодным кофе, — ужасная вещь подхалимаж! Ведь эта несчастная портниха не может так бесстыдно лгать и льстить без ущер-

ба для себя. С каждым днем она все больше теряет свое человеческое достоинство и уважение к себе. Надо или не надо, на лице у нее остается заискивающая улыбка. А между тем, зачем ей льстить? Если она хорошая портниха — к ней и так пойдут. А этот, щелкающий на счетах бухгалтер, только что уверявший всех в страстной любви к своему делу, тоже мог бы спокойно работать без подхалимажа. Зачем им это? Или это делается бессознательно?»

В это время три личности стояли у окна кафе и издавали восторженные восклицания:

— Прелестный мальчишечка! Этакий пузанчик. Вылитый папа!

— Ну, не скажите. И от Анны Львовны что-то есть. Волосы такие же кудрявые.

— А глазенки-то какие быстрые. Далеко пойдет парнишка!

— Да это совсем не Вова, — перебил Петр Иваныч. — Я этого ребенка в первый раз вижу.

Все три личности, выражаясь гоголевским слогом, издали звук, отчасти похожий на букву О и несколько на Е и стали смущенно усаживаться обратно.

В кафе вошел высокий худощавый человек, осмотрелся и, увидев одиноко сидящую в углу фигуру за холодным кофе, быстро подошел.

— Николай Степанович, что вы тут в одиночестве? Пойдемте, я вас познакомлю. Пойдемте, я вам говорю! Вы ведь с Петром Иванычем не знакомы? Богатейший человек. Большая умница. Своя контора. В советском клубе крупную роль играет. Массу жертвует в разные фонды. С ним очень считаются. Пойдем, пойдем...

Через десять минут Николай Степанович сидел за столом вместе с магнатом, который голосом, не привыкшим к возражениям, распространялся о политике, и чувствовалось, что этот человек, прекрасно знающий толк в валюте, в биржевых операциях, в торговле, — в политике малограмотен, как людоед с диких островов. Иногда Петр Иваныч отпускал шутки, и тогда все сидевшие за столом подобострастно хихикали. Николай Степанович услышал противное, льстивое: «Хе-хе-хе» и с отвращением почувствовал, что это хихикает сам он.

— Я-то что? — ужаснулся он, — мне-то к чему перед ним подхалимствовать? — И снова вспомнилось гоголевское:

«АННА АНДРЕЕВНА: — Вы-то что? Вы ведь не служите.

ДОБЧИНСКИЙ: — Да так, знаете, когда вельможа говорит, невольно чувствуешь страх».

«Отвратительно, — думал Николай Степанович, возвращаясь домой, — отвратительно! И откуда в человеке сидит эта гадость? И ничего мне от него не нужно, а я мало того, что хихикал на его глупые шутки, нет, мало того, я даже соглашался с его идиотскими мнениями. Ведь вот, например, мое убеждение в необходимости уничтожения капитализма созрело не сегодня, а я соглашался с

ним, когда он, усмехаясь, заявлял, что без капиталистов мир не проживет. Я соглашался. Кивал головой вместе с этими тремя нулями, не имеющими никаких собственных мнений. А через пять минут магнат понял, что сказал глупость, и стал повторять мне мои собственные слова, и всем стало неловко, но три нуля быстро приспособились и снова стали поддакивать. Совершенные Добчинские и Бобчинские, хором говорящие: “Справедливо, совершенно справедливо”...

Отчего же это произошло? Отчего я из-за какого-то бессознательного подхалимажа на секунду отрекся от своих убеждений? В чем тут дело? Слабость характера? Расхлябанность?»

И от стыда Николай Степанович морщился и дергал головой, и весь остаток дня был мрачен и неразговорчив.

У БЕЗДНЫ С САМОВАРЧИКОМ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА)

Приходил поэт Леонид Ещин — громкий, шумный, всегда немного пьяный.

Если взрослых дома не было, он шел прямо в детскую, где я с отвращением решала задачу про бассейны, подходил ко мне и бросал задачник на пол.

— Брось ты эту сволочь, — гудел он. — И зачем только детей мучают?

Я с ним соглашалась. Задачник оставался на полу.

А Ещин садился верхом на стул и, за неимением других слушателей, читал мне стихи:

...Чтоб войти не во всем открытый
Протестантский прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!

Я не понимала ни одного слова, но стихи мне очень нравились. И голос Ещина нравился. И сам он: веселый, бесшабашный, всегда навеселе — тоже нравился. Мне с ним было просто и весело.

— Мне уходить надо. К Зине Ивановой, — вздыхала я, — уроки учить!

— Это та, у которой мать такая толстая дура с большим бюстом? Нечего тебе там делать. И уроки нечего учить. Мы сейчас перейдем к Блоку.

И голос гудел:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух...

Потом я шла к Зине Ивановой и приседала перед ее мамой, которая рассеянно трепала меня по щеке и говорила:

— Идите, идите, девочки, занимайтесь...

Мне было страшно и весело вспоминать, как ее называл Ещин. Страшно, потому что она была взрослой и полагалось ее уважать. Весело, потому что приятно свергать авторитеты, и потому что я смутно чувствовала, что Ещин прав.

Из соседней комнаты до меня доносился голос зининой матери, рассказывавшей гостье:

— Так вчера было мило, душечка, вы себе представить не можете! Был Ещин, были другие поэты, был пианист Деринотов (этот

сумасшедший воображает, что он в меня влюблен) — одним словом, была вся богемочка. Вы знаете, мы для стиля даже ужинали на ковре. Ещин изумительно читал Гумилева. Я тоже рискнула прочитать свои стихи. Помните, я вам показывала. «Не забудь про черного брата, обнажи закаленный клинок»... Очень хвалили. Потом Деринотов играл Дебюсси...

— Купец купил 20 аршин сукна синего цвета и 5 аршин красного, — кричала мне в ухо Зина. — Ты опять о чем-то постороннем думаешь! Завтра вот схватишь кол...

А я представляла себе громкого полупьяного Ещина в этой благополучной квартире с вышитыми подушками и статуэтками. Знала, что завтра он войдет в детскую, бросит на пол географию с картинками, сядет верхом на стул и загудит:

— Был у твоих Ивановых. Сначала толстая дура воображала себя актрисой, а теперь думает, что она поэтесса. Кормят, впрочем, там отлично. Но зачем она лезет в искусство? Зачем? Продолжала бы играть в свой маджан.

Я не знала, зачем.

Впоследствии, впрочем, мне это объяснил Андрей Белый, писавший о любви некоторых людей пристраиваться к «бездне с самоварчиком».

Педагоги, скажут, конечно, что десятилетнему ребенку знакомство с таким человеком, как Ещин — кроме вреда ничего принести не может. Ребенку полагается быть почтительным, учить уроки и не слышать грубых слов и критики старших. Возможно, что это и так. Возможно, что знакомство с Ещиным и принесло мне вред. Но с тех пор на всю жизнь осталась у меня любовь к таким, пускай бесшабашным, пускай безумным, но истинно талантливым людям, которые любят искусство и все прекрасное настоящей любовью, потому что искусство и есть для них жизнь. И навсегда осталось отвращение к сытым, благополучным мещанам, «пописывающим стишки» и играющим в «богемочку». От скуки. Из мелкого тщеславия.

— Знаете, я пишу стихи...

— Ах, прочитайте. Как мило! Дорогая, почему вы не печатаетесь?

— Мой муж против. Он ведь занимает большое положение. Неудобно.

Зато муж позволяет устраивать «литературный салон», где все для стиля ужинают на ковре и, жмурясь от восторга, рассказывают своим друзьям, как они на один вечер совершенно превратились в «богемочку» и как это было мило.

Когда я впоследствии прочитала стихи Блока «Поэты», я поняла, что там было сказано про Ещина:

Пускай я умру под забором как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я знаю, то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала.

Он действительно умер под забором. Но вьюга его целовала. Ему, этому пьяному, нищему человеку, были доступны те высокие радости, которые даются творчеством, сжигающей любовью к искусству, ко всему прекрасному. Он мог плакать над «малым цветком, над малою тучкой жемчужной»... И он знал, что искусство требует всего человека и не признает полумер... Он ненавидел людей, которые, не уважая искусства, панибратски похлопывают его по плечу.

Скучно обывателю. Он тоже хочет приобщиться к искусству. Ему и в голову не приходит, что это за страшная, сжигающая сила. Он хочет с искусством поиграть. Разве не может каждый между делом «пописывать стишки»? И обыватель деловито тащит свой самоварчик и не без уюта пристраивается около бездны.

И сколько теперь задымило таких самоварчиков!

Обуреваемые скукой и снедаемые тщеславием обыватели ведут себя организованно и объединяются в кружки. Называют кружок каким-нибудь именем недели и представление начинается.

Сначала литературная дама читает доклад. Что-нибудь вроде: «Параллели между Данте Габриэль Россетти и Есениным».

Неважно, что параллелей никаких нет и быть не может. Неважно, что никто из присутствующих в жизни не слыхал о Россетти (сама читающая доклад на днях случайно напала на статью об этом английском поэте). Дело не в этом. Важно, что завтра каждый из членов кружка, встретив своего знакомого, может небрежно обмолвиться:

— Вчера на собрании обсуждали Россетти. Выло очень интересно.

Тут знакомый должен лопнуть от зависти и преклонения перед образованностью и умом человека, знающего толк в Россетти.

После литературной дамы начинаются выступления поэтов.

Выходит молодой человек и, завывая, начинает призывать первые ряды покончить жизнь самоубийством.

Первые ряды, впрочем, за молодого человека нисколько не тревожатся. Они знают, что завтра утром он спокойно поедет на службу на полицейском мотоциклете и будет разбирать тяжбы между квартирными хозяйками и жильцами. И хотя он почему-то именует себя «кровавым вивисектором», — все знают, что это он так, для красного словца. Ничего безумного он не совершит и в жизни не пропадет, потому что полицейская служба для него гораздо важнее всех стихов, написанных с сотворения мира. «За слова свои голодать» (Маяковский) он, во всяком случае, не собирается. Слова словами, а служба службой...

Потом начинаются выступления поэтесс. Эти выступления проходят под знаком беззастенчивого издевательства над беззащитной Анной Ахматовой. Читаются стихи все о той же перчатке, надетой не на ту руку, и о любимом человеке, который неаккуратно является на свиданья.

И все расходятся, очень довольные друг другом.

Они забывают главное, что «талант — это любовь». Любви же и уважения к искусству и желания заняться им серьезно — у них нет.

— Ну зачем вы так, — скажет человек равнодушный и терпимый, — пусть уж лучше стихи пишут, чем в маджан играют!

Нет! Неправ равнодушный человек. Он рассуждает так — именно по равнодушию.

Ведь искусство — от слова искус, мастерство. Оно требует большой работы, строгости к себе, тяжелого тернистого пути.

Честнее совсем искусством не заниматься, чем похлопывать его по плечу.

Честнее играть в маджан, чем писать скверные стихи.

МОНОЛОГ

Она уселась в кресло, вынула из сумки маленькое зеркальце и начала пудриться.

— Не знаю, — защебетала она, — как сейчас люди ухитряются жить. Цены-то, а? Ужас! Кошмар! Такое огромное количество нищих, безработных... Чуть не на каждом шагу натыкаешься на трупы в рогожах... Прямо страх! Странно. Опять прыщик вскочил. Около носа, видите? Отчего бы это? Я так слежу за кожей, а вот... Хороший цвет у этой пудры, правда? Специально для смуглой кожи. Да, так о чем мы говорили? О трупах. В рогожах. Кошмар! Так и валяются. И чего полиция смотрит? Вчера это я иду...

Да, между прочим, встретила, вот как раз вчера, Иванова. Помните его? Одет бедно, верно, недоедает. Я так рада, что Мишенька с ним развязался. С ним было совершенно невозможно работать. Мишенька говорил, что с таким компаньоном только прогорать. Можете себе представить, летом открывает в кондитерской фен. Тогда еще — до войны, правда, нормы на электричество не было, но зато расход! А Иванов сердится: «Что, — говорит, — из-за каких-то пяти рублей людям в жаре мучиться! Они, — говорит, — и так едва на ногах держатся». А эти наши продавщицы Бога должны были благодарить, что такое приличное место нашли. А еще их феном баловать! Все равно бы и без фена не ушли. Ну куда им деваться? Однажды в кассе нехватило полтинника. А Иванов говорит: «Бросьте. Ну что из-за мелочи истории поднимать». Полтинник-то тогда был все равно, что теперь тысяча. А Мишенька говорит: «И полтинник не мелочь. Деньги-то из полтинников составляются». И доискался этого полтинника! Мишенька, знаете, долго Иванова терпел. То этот Иванов фен открывает, то кричит, что мальчишке-развозчику жалованье надо прибавить, потому что у него, видите ли, вид замученный. А Мишенька говорит: «В своем деле больших жалований нельзя платить. Вся прибыль уйдет на жалованья. А сейчас безработица. На их места сотни найдутся». Ну потом, слава Богу, с Ивановым развязались. Невозможный человек! Мишенька говорит: «Такому только на других работать. Свое дело у него никогда не пойдет».

У нас без него дела куда лучше пошли. Мишенька при кондитерской кафе открыл. Продавщицы стали заодно и кельнершами. Они, можете себе представить, просили прибавки. Но куда там прибавлять! Сейчас времена тяжелые. На улицах столько безработных. Нищие. Трупы. Они должны Бога благодарить!

Но Мишенька все-таки о служащих всегда заботится. Вот недавно цены поднялись, он всем немного прибавил. Так они и то не-

довольны. Мало, кричат, мы, кричат, на это существовать не можем. Эти люди всегда всем недовольны. Прямо ужас!

Ну, сейчас нам жаловаться не приходится. Кафе хорошо пошло. У нас уже золотых баров порядочно. После войны или в Америку уедем, или дом здесь купим. С садом. И свой автомобиль, и все такое. Но как тяжело эти деньги даются! Мишенька хоть и полнеет, но здоровья никакого. Весь измучился. Недавно не спит, ворочается. Я говорю: «Спи, Христа ради! Завтра рано вставать». Он у меня всегда первый приходит, чтобы служащих проверять, не опаздывают ли. А он говорит: «Меня кассирша беспокоит. Вчера пришел, а она три тысячи в книгу не записала. Забыла, говорит, Михаил Иваныч. Я ей показал Михаил Иваныча! Так теперь все думаю: забыла она или утаить хотела? И все думаю: есть ли у нее возможность утаивать? Потому что, — говорит, — Леночка, даже тысяча и то деньги!»

Когда мы с Мишенькой молодыми были, все мечтали богатыми быть, хорошую квартиру иметь, одеваться. А сейчас не до того. В одной комнате живем, Миша четвертый год в одном костюме ходит, я себе платья нового сделать не могу. Потому что эти тряпки ни к чему. Мы все золото закупаем. Лучший вклад. Но зато уж как война кончится — заживем. Я потихоньку столовое серебро покупаю.

Только Мишеньку жалко. Замотался совсем. Вчера подсчитал кассу и говорит: «Мало выручаем. Надо закрывать кафе не в 8, а в 10». Служащие, конечно, скажут, что это невозможно, что они и так на ногах весь день. Но если на служащих внимание обращать, ни одного золотого бара не купишь. Сейчас столько безработных! Они должны Бога благодарить...

Мишенька каждую ночь не досыпает. Опять недавно ворочается. Ты, говорю, что? Оказывается, считает, сколько у нас баров и сколько это в переводе на теперешние деньги получается.

Он у меня патриот. Всегда говорит: «СССР — великая страна. Я, говорит, не как некоторые. Я — поклонник социализма!» Каждый месяц жертвует в разные фонды. Вот, знаете, рядом с нашим кафе меховой магазин. Так его владелец — мишин приятель. Они и состязаются: кто больше пожертвует.

А про них обоих говорят, что они скупые. Но я знаю, откуда это идет. Это служащие рассказывают. Видите, какие неблагодарные! О них заботятся, службу им дали, а они такие вещи... А Мишенька говорит: «Пускай себе болтают! Все знают, сколько я жертвую. Мне для наших раненых защитников и сирот — ничего не жалко!»

Да, у нас ведь новая забота. Катя, продавщица, знаете, такая черненькая, все хворает. Держать ее сплошной убыток! Миша решился ее все-таки уволить. Дает ей вперед за две недели. Другие бы так не поступили. Другие бы просто сказали: нам больных не

надо. Идите на все четыре стороны! А Миша не такой! Он о служащих заботится!

Кончится война — хотим обязательно уехать. Мне бы в Россию хотелось, — моя родина. Но Мишенька говорит, надо сначала хорошенько разузнать, какие там правила насчет собственности и частных предприятий. Потому что, может быть, все-таки в Америку лучше? Там людям с мишиными талантами все дороги открыты. А уж в крайнем случае здесь останемся. Ведь патриоты везде могут быть полезны своей родине, не правда ли? Мы разве отказываемся жертвовать?

Ох, бежать надо. У меня в четыре маджан. Да, еще забыла рассказать: до чего Мишенька делом своим болеет. Вчера опять ворочается. Я думаю: может, ему луна мешает? Оказывается, другое. «Как, говорит, ты думаешь, Леночка, а вдруг Витька, наш развозчик, на казенном велосипеде для собственного удовольствия катается? Подумай, говорит, шины ведь изнашиваются!»

Я говорю, «Миша, ты с ума сошел! Мальчишка весь день, не слезая, по делам кафе ездит. Куда ему там для удовольствия кататься?» «А кто, говорит, их знает! Служащие такие хитрые. Только и норовят, чтобы хозяина обмануть...»

Да, так надо бежать. Заходите. Мишенька вечерами у себя в кафе сидит, а я дома скучаю...

МАДАМ ГОЛДОВА

Накануне вечером она читала доклад на тему: «Женщины великой страны».

Она работала над этим докладом несколько дней. Каждый вечер она читала вслух своему мужу.

Муж приходил усталый после преферанса, садился в кресло и говорил:

— Знаешь, Любчик, просто ужас что творится! С этой валютой можно тихо помешаться. Кочкалов советует не выбрасывать товар, а ждать. Ну, хорошо, ну мы ждем и проживаем бары, а тем временем... И вообще, когда эти банки снова заработают?..

— Погоди, Бобчик, — перебивала она. — мне сейчас не до банков, давай я тебе прочту свой доклад!

И она читала:

«Война, развязанная гитлеровской Германией и японскими империалистами, пришла к победному концу. Подлый враг, темной ночью предательски напавший на нашу страну, окончательно разгромлен. Весь советский народ, как один человек, поднялся на защиту своих границ. Героическая роль в великой Отечественной войне советского народа против фашистских захватчиков принадлежит советской женщине, чьи блистательные достижения на фронте и в тылу не устают поражать мир...»

— Очень хорошо, — сонно бормотал муж, — прекрасно! Очень гладко...

— Я и сама знаю, что начало хорошее. А вот конец?..

— А ты там что-нибудь вставь насчет факела. Ну, знаешь, что, мол, сквозь темную фашистскую ночь советская женщина нетрепетной рукой пронесла немеркнущий факел... ну там что-нибудь в этом роде...

Доклад имел большой успех. Все говорили, что он был много лучше, чем доклад, прочитанный в прошлом месяце мадам Кошкес, известной интриганкой, которая на лотерею только и раскачалась пожертвовать старую вазу с приклеенной ручкой. Когда Любочка прочла последние слова: «Сквозь темную фашистскую ночь советская женщина немеркнущей рукой пронесла нетрепетный факел» — то, даже несмотря на эту досадную оговорку, зал разразился аплодисментами. «Подлый захватчик хотел сломить свободный дух женщины свободной страны. Не вышло!» — закончила Любочка нервно повышенным голосом.

Потом все ее окружили, поздравляя. 'Только Кошкес сидела где-то в стороне. Ясно, что она умирала от зависти...

Утром Любочка чувствовала себя утомленной, но в этот день было назначено посетить детский сад, а советская женщина должна исполнять свои обязательства.

Она проспала и попала к детям только к одиннадцати. Уже через пять минут у нее началась мигрень от гама и шума, но она пересиливала себя, ожидая воспитательницу.

— За что ты ее бьешь? — спросила она маленького мальчика, лупившего беленькую рыдающую девочку.

— За лицо.

— Я сама вижу, что по лицу — раздражилась Любочка, — отвечать не умеешь! Анна Николаевна, вот и вы. Как вы их распускаете! Ужас. Никакой дисциплины. Вы не умеете себя с ними поставить. Я вас прошу быть с ними построже.

— А я вас прошу, — тихо сказала Анна Николаевна, — не делать мне замечаний в присутствии детей, — и отошла в сторону, утешая беленькую рыдающую девочку.

Обиделась. Подумаешь! Нищая. Из милости дали ей работу воспитательницы. Если бы не Любочка и не другие дамы-патронессы, что бы она делала? Любочка обмахивала раздраженное лицо веером и модное золотое кольцо сияло как маленькое солнце на ее белой пухлой руке. Издали доносились веселые голоса детей, вопившие:

— Поп, священник, вор, мошенник, честный человек...

— Анна Николаевна, — позвала Любочка, — вы слышите, что они говорят?

— Слышу. Это у них игра такая.

— Я не про это вас спрашиваю. Неужели вы сами не понимаете? «Поп, священник»... Это служители религиозных культов. К чему забивать детям головы такими вещами? Это антисоветский дух. И мало того: мне передавали, что вы тут сказки им рассказываете про царей и цариц. Пожалуйста, чтобы этого больше не повторялось. Иначе мне придется доложить комитету, что дети воспитываются в антисоветском духе.

— Мадам Голдова, — сказал тихий голос рядом, — можно с вами поговорить?

Перед Любочкой стояла бедно одетая женщина с головой, повязанной платком. Хоти вокруг были скамейки и стулья, но сесть она, видимо, не решалась.

— Можете идти, Анна Николаевна, — сказала Любочка, не глядя на стоящую перед ней женщину, — можете идти и примите меры. Я не потерплю никакого антисоветского духа...

Она обмахивалась веером, и золотое кольцо поблескивало на ее пухлом пальце.

— Я хотела вас просить... — начала женщина.

— Знаю, милая моя, знаю, о чем вы все просите. Но и я вас о чем-то просила, если вы помните. Вы нашли себе постоянную работу?

— Нет, но... Мадам Голдова...

— Я вам тысячу раз говорила, что на поденную работу вы своих детей не прокормите. Вы, видимо, хотите их свалить на шею благотворительности. Народила троих, а мы за нее расхлебывай. Знаете, я вас «немножко» богаче (иронически подчеркнула Любочка) и то не позволяю себе такой роскоши, как иметь троих детей. Мы вам помогаем, но и вы, милая моя, должны нам идти навстречу.

— Мадам Голдова... что же делать, у меня их трое. Я вдова. Мне нужно на них поштопать, постирать. Если я найду постоянную работу, я буду весь день занята и тогда...

— Ну, милая моя, вы свои разговоры оставьте. У меня всю жизнь русская прислуга, и уж я-то знаю. Я своей прислуге всегда даю отпуск в воскресенье на полдня. А за полдня, при желании, можно многое успеть...

Перед уходом Любочка снова подозвала Анну Николаевну и сказала:

— Если эта поденщица Петрова еще раз придет, вы ей объясните, что я с ней разговаривать не буду, пока она не устроится на постоянное место. С этим народом только так и можно. Народила троих и нам на плечи хочет скинуть. Да, и не забудьте, о чем я вам говорила. Чтобы никаких «попов, священников и цариц» здесь больше не было. Понимаете?

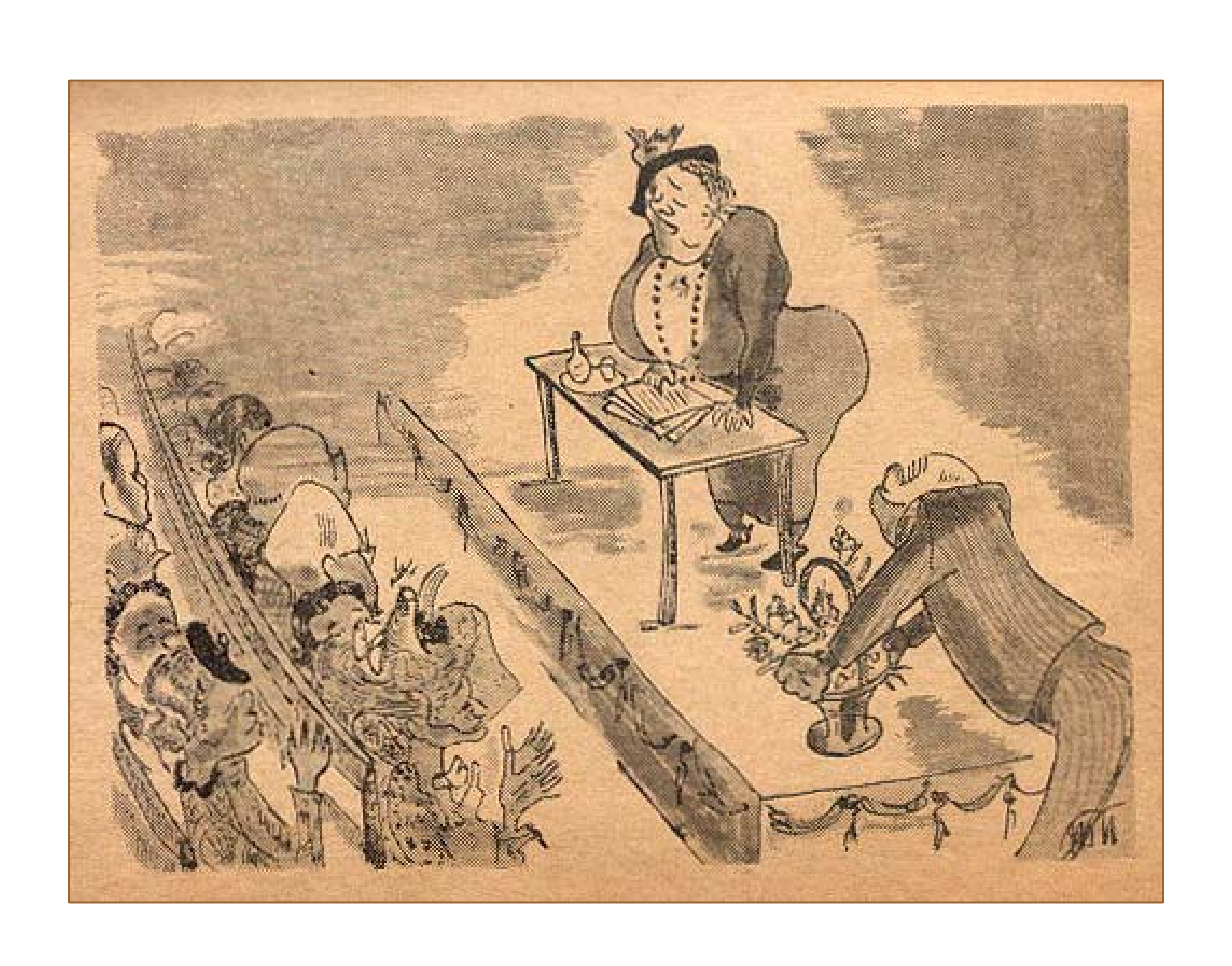
И вдруг Анна Николаевна вспыхнула:

— Вы... вы мне не указывайте! Не смейте меня учить никакому «советскому духу». Мы с поденщицей Петровой лучше вас его понимаем. Мы всю жизнь трудимся... всю жизнь... А вот антисоветский дух не в детских сказках выражается, а во всех... во всей вашей жизни... во всех ваших разговорах...

Во время заседания комитета у Любочки к чаю был подан чудесный торт со сливками, а не какое-то сухое вчерашнее печенье, как у Кошкес на прошлом заседании. Все возмущались Анной Николаевной. Было решено немедленно уволить ее за неприличное поведение.

— Я так жалею, что я ее рекомендовала, — говорила Любочка, — но кто же знал? Она у моей Люли была бонной и себя вела вполне прилично. Жила у нас как сыр в масле. Ну, конечно, я не могла ее кормить тем, что мы сами ели. У нас на столе и курица и масло и сливки... Она даже и не привыкла. Но я ее кормила вполне достаточно. Когда же Люля поступила в школу, я ее рекомендовала воспитательницей...

Потом дамы щебетали о своих личных делах. Это все были дамы «своего круга», жены богатых, преуспевающих мужей. Они го-



ворили о маджане, о преферансе, о платьях, о портнихах… Разошлись поздно.

Вечером, перед сном, Любочка говорила мужу:

— Знаешь, Бобчик, о чем я думаю? Об этом женском конгрессе в Париже. Хорошо было бы там побывать. Я, как активистка…

— Спи, — говорил муж, — ты знаешь, который час?

Но Любочка еще долго не спала. Она видела себя на женском конгрессе, стоящей на трибуне. «Товарищи! — говорила она, — война, развязанная гитлеровской Германией, завершилась нашей победой. Мы, советские женщины, — товарищи, — выполнили свой долг, пронеся… немеркнущей… нетрепетной… немеркнущей…»

Мысли ее мешались. Ей слышались детские голоса, звонко визжащие:

— «Поп, священник…»

— Товарищи, — продолжала Любочка с трибуны, — мы должны следить за воспитанием молодого поколения, борясь со всяким проявлением антисоветского духа, товарищи…

Глаза слипались и голова тяжелела.

Во сне ей снилась трибуна, Париж, которого она никогда не видала, цветы, она сама на трибуне… В первом ряду — бедная женщина с головой, повязанной серым платком… «Как сюда попала поденщица Петрова?» — с возмущением подумала Любочка. Она хотела начать речь, но, как часто бывает во сне, — не могла произнести ни единого звука.

В ШАНХАЕ АМЕРИКАНЦЫ

В доме сегодня был радостный переполох. Приехал сын соседской амы (бывший прячка, а теперь педикэбщик) и с восторгом показывал всем американский доллар. Он заработал его, как рассказывала потом жена нашего соседа (бывшего инженера, а теперь шофера) всего за двадцать минут работы. И приехал поделиться радостью с матушкой.

Старуха — соседская ама — всегда много о себе думала, а теперь к ней прямо не подступиться. С тех пор, как ее сын не бегает больше с утюгами, а является представителем модной и доходной профессии педикэбщика, она перестала мести общую лестницу и, вообще, стала всех презирать. Единственно, кого она милует, — это соседку снизу, из однокомнатного аппартмента (бывшую учительницу, а теперь кельнершу).

Успехи бывшего прачки на его новом жизненном поприще взбунтовали всех боев дома, которые стали хором грозиться бросить все и уйти в педикэбщики.

А вечером иногда слышно, как из за стены другая соседка пилит своего мужа, бывшего и оставшегося инженера.

— Почему ты не шофер? — говорит она голосом трагической актрисы. — Боже, почему он не шофер!

— Я же тебе говорил, Маша, что я не умею править машиной, и потом...

— Ах, ты всегда чего-то не умеешь! Чего-нибудь самого главного ты непременно не умеешь. Я всегда говорила, что все эти высшие образования ни к чему. Посмотри на Лидочку! Педагогический институт закончила — по урокам бегала, гроши получала. А вот теперь... Знаешь, сколько она зарабатывает в ресторане? Ты в своей отвратительной конторе в месяц столько не заработаешь, сколько она в вечер... Сейчас страшно выгодно быть кельнершей. Боже, почему ты не кельнерша?... я хочу сказать, почему ты, вообще, сидишь, как байбак, а вокруг... Вот даже амкин сын со своим педикэбом...

— Но, Машенька, я же не могу...

— Ах, оставьте меня, оставьте! Жизнь уходит!...

Потом слышны тихие всхлипыванья и прерывистый голос:

— Марьи Ивановны сын... он в этом кабаре «Синий тюльпан» на тромбоне играет... и он вчера за один вечер... пятьсот... пятьсот тысяч заработал. Боже, почему ты... почему ты не играешь на тромбоне?

— Но, Машенька, ведь я...

— Оставьте меня! Оставьте! Жизнь уходит.

Вчера в магазине очень долго пришлось ждать, пока отрежут полфунта колбасы. Покупатели стояли хмурой толпой и ждали, а хозяин носился как безумный, правой рукой заворачивал сыр одному, левой резал колбасу другому, и вообще проявлял такие чудеса знания своего дела, что они почти граничили с жонглерством. Раньше у него были помощницы, две девушки, продавщицы. Где они — никто не спрашивал. Картина была ясна. («...Вы знаете, сколько сейчас зарабатывают кельнерши?»). Из всего магазинного штата осталась лишь пожилая кассирша, но по всему ее поведению чувствовалось, что и она на отлете. Она вертела ручку кассы с такой яростью, что становилось страшно за ручку и за эту немолодую, но темпераментную женщину.

— Получите 34 тысячи! — выкрикивал хозяин и поворачивался к полке, откуда доставал зубами какую-то банку (руки его в это время лихорадочно резали).

— Тррр, — говорила ручка кассы.

Близ стоящим было слышно бормотанье кассирши:

— Как собака, — говорила она, — до семи вечера, вам пять сдачи... за какие-то 400 тысяч... ищите себе другую... тррр... другие за пять минут работы... трр... эти деньги сделают, а я... как собака... тррр... мелочи нет, я вам талончик на двести дам... трр...

На улице зажигались огни и малолетние нищие хватали за штаны проходящих мимо американских матросов. Педикэбщики выглядели, как гончие собаки, делающие стойку.

— Н-да, — сказала моя спутница. — Завтра понедельник. Опять в контору. Опять за миллион сиарби.

И неожиданно добавила:

— Как собака... тррр...

— Что с вами?

— Нет, ничего. Это на меня кассирша подействовала. Н-да. А она завтра обязательно уйдет. У нее вид решительный. Интересно, на какое амплуа? И интересно, что будет делать одинокий хозяин? Вертеть ручку кассы ногой?

Дома все было по-прежнему. Бывшая учительница (теперь кельнерша) собиралась на работу, бывший инженер (теперь шофер) с работы возвращался, а за стеной Машенька говорила своему мужу:

— Ты же в детстве играл на рояли!

— Ну?

— Ну, так сын Марьи Ивановны говорил, что у них пианист заболел. Попробуй! Им все равно. Им лишь бы как-нибудь. Они же по большей части пьяные...

— Но, Машенька... но как же я...

— Ах, оставьте меня, оставьте!..

НАДОЕЛО

...По дороге встретили девушку в красных туфлях под руку с военным. Так как таких девушек, таких туфель и таких военных по дороге попадалось великое множество, то внимания на это никто не обратил и все продолжали громко говорить о дороговизне, о том, какие теперь курить сигареты и как вообще жить. Но когда встретили хорошенькую девушку под руку не с военным, а с каким-то бедно одетым штатским, то все очень удивились, несколько раз оглянулись и сказали:

— Странно! Муж он ей, что ли? И о чем она думает? Столько в городе американцев!..

Потом встретили еще одну девушку, которая несла в руках маленький саквояжик и быстро шагала на стоптанных каблуках, и кто-то сказал, что она маникюрша, а все остальные удивлялись и говорили:

— Странно! По маникюрам бегает! И зачем ей это? Столько в городе американцев...

В зале кинематографа впереди сидела девушка с военным, и рядом тоже, и сзади тоже, а билетерша у дверей проверяла билеты, и билетерша была совсем молоденькая, и все посмотрели друг на друга и взволнованно зашептали:

— Странно! Что она здесь делает? Платят-то, верно, гроши. Столько в городе...

Но тут потушили свет, и все полтора часа молчали. Картина была довоенная, американская. Кларк Гэбл на глазах у зрителей безумно богател на нефти; когда окончательно разбогател и построил новый дом, то начал игнорировать жену и танцевать в ночных клубах с кем-то посторонним. После чего, опять-таки на глазах у зрителей, он разорился, бедность его отрезвила, и он стал примерным мужем. Затем он опять разбогател и стал с новой силой изменять жене с девушкой, которая только и делала, что, полулежа на кушетке, ворковала с ним по телефону белого цвета. Однако, продолжалось это недолго. Он снова разорился и снова вернулся к жене. Жена улыбалась сквозь слезы и обнимала его, и на этом картина закончилась. И никому не было понятно, почему так преждевременно радуется жена, ибо вопрос не решен: муж в любой момент может снова разбогатеть и все начнется сначала. Каков был смысл этой картины — тоже оставалось непонятным.

В публике мелькали военные формы и красные туфли, и кто-то рядом взволнованно говорил, что Сидоренко устроился сторожем в годаун и весь день ничего не делает, получая за это 75 голд. А кто-то отвечал, что Сидоренко это что, а вот Безносюк получает

135, а кто-то перебил и сказал — это тоже ерунда, а вы знаете, сколько Веснушкины зарабатывают на своем баре?

Потом пришли домой и пили чай, и один из мужчин сказал:

— Хорошо бы водчонки...

А ему ответили:

— Вы знаете, сколько сегодня стоит бутылка?

И жена ядовито заметила:

— Вот когда будешь зарабатывать как Безносюк, тогда пожалуйста!

Потом все долго молчали, о чем-то думали и, наконец, заговорили.

Говорили о Лидочке.

— Ну как вы ее не помните, служила в банке машинисткой и еще все умные книги читала!

— Ах, это такая маленькая, курносенькая?

— Ну вот именно, именно! Цитировала еще этого... ну как его... немца-то с длинным именем?

— Канта?

— Пожалуйста, не перебивай! Какое у Канта длинное имя? Этого... ну, еще недавно помнила!..

— Шопенгауэра?

— Вот, вот! Так бы сразу и сказал! В общем, придет, бывало, всех презирает и поехала: «Шопенгауэр, мол, сказал, что жизнь нам только снится...»

— Послушай, ты говори или о Лидочке или о немецкой философии...

— Не сбивай меня. Еще она всегда цитировала ихнего этого... сверхчеловека... Ницше. Смотрю, вчера — идет, серой щелкает.

— Кто?

— Как кто? Лидочка, конечно! Лидочка, говорю, как ваш банк? Что, говорит, я дура за какие-то полтора миллиона... Уже месяц как в баре работаю. Я говорю: «Лидочка, с вашей интеллигентностью, могли бы секретаршей устроиться». — Ах, говорит, разве можно! Американцы всегда ждут, что секретарша будет заодно и любовницей...

— А в баре от нее ждут, что она заодно будет и стенографисткой?

— Опять ты перебиваешь!..

Еще говорили о супругах Веснушкиных. Муж уволился с поста бухгалтера, получил за три месяца, кое- что продал и открыл бар.

— Кафе-ресторан!

— Милая, вы наивны! Самый настоящий распроматросский бар!

— Вы с ума сошли! Веснушкины! Да никогда в жизни.

— Ну вот, вы мне будете говорить! Я-то уж знаю...

— Да, но мадам Веснушкина... Она всегда в лучшем обществе... в бридж играла...

— Какое там лучшее общество! Вы хотите сказать, что она лезла в лучшее общество, да только никогда ничего не получалось. Ну, в общем, бриджи свои бросила, «лучшее общество» тоже, стоит за стойкой, с матросами на высокие темы разговаривает.

— Катя, не говори, о чем не знаешь!

— Я не знаю? Из достовернейших источников знаю! Сам Веснушкин пиво открывает, за пьяными следит. Даже дедушку приспособили. Помните его? Сидит сейчас в углу, выручку считает.

— Ах, все-таки неприятно! Интеллигентная семья. Люди такие приличные...

— Ну, милая, что же делать? Жить-то надо! А интеллигентность у них как рукой сняло. Вы бы поглядели, как Соня Веснушкина серой щелкает и матросов осаживает. Откуда что берется!

— Катя, но ведь ты же этого не видела...

— Не видела, но все говорят! Накопят денег, опять начнут в бриджи играть, в «лучшее общество» лезть. Это только мы с тобой, идиоты, так не умеем!..

Засиделись поздно. Говорили все о том же. О Лидочках, о Безносюках-счастливчиках, о заведующей дамской уборной в каком-то театре (— Ну помните ее? Такая рыжая, страшная, лет под пятьдесят!), которая сейчас разъезжает на педикэбах. (— И чем уж она-то зарабатывает, милая, ну просто ума не приложу!)

Главное же, говорили о деньгах...

После ухода гостей хозяйка дома, постилая на ночь постель, задумчиво проговорила:

— Конечно, Петр Николаевич очень милый, но какой-то... Без инициативы. Ну я не говорю, что он должен, как Веснушкин, бар открыть, но все же... Женичку жалко. Ей, конечно, не тридцать, как она говорит, а все тридцать пять, но молодая все-таки. Губит она себя с ним. Столько в городе...

Не докончив фразы, вздохнула и пошла в ванную. Умываться.

Потушили свет, но сон долго не шел. Она думала о Безносюке, который получает 135 голд. И за что! Дурак дураком! И о том, сколько это будет на сиарби, и о том, как можно было бы жить, получая эти деньги... Еще она думала о завтрашнем базаре и о ценах, и снова ее мысли возвращались к «голдам» и она думала, что, в конце концов, можно было бы жить и на 75, которые получает некто, ничего не делающий около годауна...

Он тоже не мог заснуть. Он вспоминал авеню Эдуард VII, залитую осенним солнцем, и толпу людей около Уилок Билдинг*, у этой «стены плача», как ее кто-то окрестил. Он думал, что без протекции ничего не выйдет и завтра надо опять забежать к Коньковичу, который обещал помочь и которого он сегодня не застал...

---

* «Уилок Билдинг» — штаб-квартира американцев, где происходил прием на службу.


КАНТ
10000

Еще он думал о том, что ему уже сорок четыре года, а жизнь не устроена, и надо снова бегать и кого-то о чем-то просить, как он бегал и просил уже столько раз. И вдруг ему пришло в голову, что надоело вечно служить у иностранцев. У англичан. У французов. У датчан и у «разных прочих шведов». «Маничка вышла замуж за датчанина. Очень влиятельный. Может помочь устроиться».

Надоело, — думал он, — надоело, надоело!.. Завтра придут сюда готтентоты, зашуршат долларами, и мы кинемся к ним, как безумные. Все это чужое, временное... Временное? Да, но затянувшееся на всю жизнь... Проклятый беженский удел. Проклятая жизнь...

Но он отбросил эти мысли и снова стал думать о Коньковиче,- который обещал помочь, о том, что завтра надо приготовить все бумаги... и снова видел перед собой залитую солнцем улицу и толпу людей, терпеливо ждущую...

И долго еще не спал, глядя в темноту широко открытыми глазами...

ПРАЗДНИЧНОЕ

В середине декабря русские ходили и спрашивали друг друга:

— Скажите, а как в СССР? По новому стилю Рождество или по старому?

И некоторые кричали, что да, определенно по новому, и что они своими глазами видели это в газетах. А другие кричали, что нет, все еще по старому, и они тоже своими глазами читали об этом.

Вопрос так и остался неразрешенным. После чего некоторые стали праздновать по новому, другие по старому, а третьи решили праздновать вообще все, начиная с иностранного Рождества и кончая китайским Новым Годом в феврале. Потому что война кончилась и надо веселиться!

Впрочем, праздновавшие по старому, хотя и ходили в гости к праздновавшим по новому и ели и пили и даже подарки получали, все же потом очень возмущались:

— Скажите, — говорили они, — почему это Миколашины празднуют Рождество по новому стилю? Смешно, ей-Богу! В прошлом году, небось, не праздновали. Если он устроился вочманом к американцам — это еще не значит, что они иностранцы! А завтра эти выскочки Иванчуки звали на коктейль. В жизни раньше коктейлей не устраивали. А теперь ихняя Леночка служит на каком-то аэродроме, какие-то пакеты заворачивает, так они — коктейль. Подумаешь.

Но тем не менее на коктейль шли и долго собирались, и жена, как водится, говорила:

— Мне совершенно нечего надеть.

А муж робко отвечал:

— Надень свое синее.

А жена всплескивала руками и горестно восклицала:

— Он говорит — синее! А вам известно, что этому синему пять лет?

Тогда муж говорил:

— По-моему, оно еще очень хорошее.

И быстро уходил в ванную бриться и закрывал за собой дверь, ибо знал все, что последует за этой фразой, и это «все» действительно следовало: из-за закрытой двери слышались упреки, жалобы, оскорбления.

Потом супруги ехали на педикэбе, и перед подъездом Иванчуков был роскошный съезд, состоявший из двух джипов* и одного маленького грузовика. Из этого можно было сразу заключить, что

---

* «Джип» — военный легковик у американцев.

имеются «высокие гости». И жена, нервно поправив шляпу, пробормотала:

— Я так и говорила, что будут американцы... Синее...

У Иванчуков было накурено и шумно. Посреди комнаты стояла группа людей с коктейлями в руках, бой разносил сандвичи, и вообще все было совсем как у иностранцев, и лицо у мадам Иванчук было взволнованное, но гордое.

Тут были и Верочка, служившая у американцев машинисткой, и Сонечка, служившая у них же кассиршей, и дочь хозяев, Леночка, служившая у них же упаковщицей.

На Верочке был короткий жакет, едва доходивший до бедер, и дамы, сидевшие в углу на диване, взволнованно зашептались:

— Неужели она себе нового не могла сшить на американские деньги? Такие жакеты носили в 37-м году!

Но тут подвернулась Сонечка, которая сказала, что это, наоборот, самая последняя мода и что в Америке теперь все носят короткие жакеты. Все очень расстроились, а мадам Бук, которая недавно сделала себе новый костюм, где жакет доходил почти до колен, расстроилась больше всех и спрашивала нервным голосом, где можно достать новые журналы. Но толком ей никто не ответил, и она снова села в угол и стала всех ненавидеть.

В отдаленьи стояла группа русских мужей, державшихся почему-то отдельно от американцев. А в центре, в группе военных, стояли Верочка, Сонечка и Леночка. Верочка громко рассказывала, какое «замечательное время она имела» вчера ночью в «Эйч-И клабе». Тогда Сонечка, чтобы ее переплюнуть, начала еще громче рассказывать о «Мамахуху ресторант», который сейчас считается самым модным. Верочка же презрительно спросила: «У кого это он считается модным?», но тут выступила Леночка, заявив, что была в «найт клаб»[1], куда открыт доступ только генералам, и Верочка с Сонечкой, не найдясь что сказать, на минуту замолчали.

Мадам Бук сидела на диване и придумывала, что бы такое неприятное сказать своему мужу, чье красное и веселое лицо мелькало в группе русских мужей. Оттуда доносилось веселое ржанье: там, по-видимому, рассказывали анекдоты.

— Эйч-И клаб... Мамахуху ресторант... только генералы и я... — доносилось из центральной группы.

— Свэлл[2], — дружным хором орали американцы.

— Га га-га, — доносилось из группы русских мужей.

Позже всех явилась Капочка, обряженная в брюки. Она заявила, что опоздала потому, что была «фор э райд ин зи кантри»[3]. После чего она деловито справилась у американцев, который сейчас может быть час в Нью-Йорке, и хоть было совершенно неясно, зачем

[1] «Найт клаб» — ночной клуб, кабаре.
[2] Свэлл — хорошо, прекрасно.
[3] Фор э райд ин зи кантри — прогулка за городом.

ей это понадобилось, американцы дружно ответили и залпом выпили свои коктейли.

Верочка, Леночка и Сонечка враждебно глядели на хитрую Капочку. Им казалось, что ездить в праздничные дни на далекие прогулки, после чего, не переодевшись, явиться на коктейль (что показывает занятость светской женщины, едва успевающей попадать на все приглашения) — это верх хорошего тона и так поступают все героини из иностранных романов о роскошной жизни.

— Сач найс тайм[4], — щебетала Каночка, — фреш эр, свежий воздух, природа, деревья... вы непременно должны съездить...

— Свэлл, — дружно орали американцы, — хэв э дринк[5].

— Дверь открывается, — доносилось из группы русских мужей, — он входит и видит...

— Га-га-га...

«Светский прием» протекал непринужденно. Из боковой двери показалась бабушка, которой приказано было сидеть у себя, но которая не выдержала, потому что очень любила гостей и шум и веселье.

— Коммант алле ву, как вы поживаете, — шамкала бабушка, считавшая, что со всеми иностранцами надо говорить по-французски.

— Хай грандма[6], — гаркнули американцы, — кам райт ин[7], олд герл![8]

— Кан жете жен, когда я была молода, — ворковала ободренная бабушка, — но тут ее заметила мадам Иванчук и, обняв за плечи, увела, а Верочка, Леночка и Сонечка, при поддержке Капочки, закричали с новой силой:

— «Мамахуху бар»... «Эйч-И клаб»... «Маски ресторант»... только генералы и я...

— Шур[9], — дружно орали американцы.

Мадам Бук с двумя другими дамами сидела на диване. Слышался нервный шепот:

— Прямых больше не носят, я вам говорю... вы видите, у Леночки весь живот в сборку, а бока обрисованы... бюст теперь моден пышный... мадам Бук, вы можете радоваться... вы бы на себя, моя милая, поглядели...

Прокричав напоследок «шур», «свелл» и еще что-то, американцы стали прощаться.

Домой супруги Бук ехали в мрачном молчании. Муж сначала был весел и все пытался рассказать какой-то анекдот, но, не встре-

---

[4] Сач найс тайм — хорошо провела время.
[5] Хэв э дринк — выпейте.
[6] Хай грандма — здравствуйте, бабушка (хай — жаргонное выражение).
[7] Кам райт ин — входите.
[8] Олд герл — старушка.
[9] Шур — конечно.

тив поддержки, замолчал. Приехав домой, мадам Бук сказала:

— На наше Рождество мы должны устроить коктейль. Теперь все устраивают, и непременно надо достать хоть двух-трех американцев. Теперь у всех американцы. Только у нас не как у людей. Я не понимаю, почему это только вы до сих пор не имеете американских знакомств?

Муж мадам Бук поспешными шагами удалился в ванную и закрыл дверь. А она подошла к зеркалу и долго с горькой улыбкой глядела на свой длинный жакет.

НА ВЕНЕРЕ СИНИЕ ЛИСТЬЯ...

Всем известно, что ни про одну европейскую страну столько не врали, сколько про Россию.

Невежество иностранцев в отношении нашей родины не устает поражать. Русские едят свечи. Водку русские пьют из самоваров. Ходят в кокошниках с утра до вечера. Все мужчины обряжены в черкески. Любимым развлечением русских является битье посуды и стрельба в кого ни попало из огнестрельного оружия.

В конце прошлого века Европа неожиданно «открыла» Россию. Англичане, американцы, французы и немцы восхищались русским балетом, русской музыкой, запоем читали Чехова и Толстого. И хотя восхищение было искренним, но было в нем нечто от оскорбительного удивленья: «Смотрите, мол, на что оказались способными эти дикари Европы».

После этого все русское вошло в моду и русские имена замелькали на страницах иностранных романов. И встречая в таком романе русское имя, сразу же болезненно вздрагиваешь: твердо знаешь, что сейчас начнется торжество невежества и глупости, сейчас начнешь краснеть за автора, читая про какую-нибудь роковую женщину Ольгу, которая хлещет водку стаканами.

...а на утро в недрах бани,
И под колокола звук,
После долгих возлияний
Паром парился грандюк.
А дюшесса Цикцикуцки
В белом платье, как была,
Так на койке на грандюкской
Растянулась и спала.

(Дон Аминадо)

Вспомним американские и французские фильмы из русской жнзни, вспомним это «незабываемое» начало картины «Анна Каренина», где офицеры пью водку, крестятся перед каждой рюмкой, лазают почему-то под стол, потом всей компанией парятся в бане и хором поют: «Ва ку, ва кузнице, ва ку, ва кузнице, ва кузнице молодые кузнецы»...

Ах, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Теперь стали врать про Россию Советскую.

Чего только не пишут, не говорят, не врут про эту страну!

Тут к вранью присоединяются и некоторые русские, уязвленные тем, что в России прекрасно обходятся без них, и со страстной жад-

ностью ищущие указаний на то, что без них все же обходятся с трудом и живется скверно.

Не будем повторять всего того, что говорилось о «колоссе на глиняных ногах», о «провале пятилеток» и т. д. и т. д. — это уже достаточно набило оскомину.

К тому, что иностранцы не желают стряхнуть с себя лень и серьезно поинтересоваться тем, что же, в конце концов, представляег собой Россия, — мы уже привыкли.

Но как могли некоторые наши соотечественники, с уму непостижимым упрямством, в течение долгих лет отворачиваться от всего того, что касалось их родины — это понять невозможно!

Ни малейшего желания узнать о том, что происходит в СССР, как там живут люди и какие там законы!

Если иностранец спрашивает: «Скажите, а в России человек имеет право иметь собственных два-три костюма, граммофон и радио?» — то не надо раздражаться: он — иностранец. Если он спрашивает, правда ли, что русские едят свечи и водку пьют из самоваров, — тоже не надо выходить из себя. Надо спокойно ответить: нет, свечей не едят. И кротко ждать дальнейших вопросов.

Если же подобные вопросы задают русские (а в городе имеются библиотеки, а в библиотеках советские журналы и книги) — это уже совсем дико!

На каждом шагу приходится слышать: «А может ли человек в СССР иметь собственную квартиру и лишнюю нару ботинок?»

Почему бы просто не почитать, какие в СССР законы?

В результате собственного невежества, русский эмигрант, настроенный как будто просоветски, вдруг принимает за чистую монету какую-нибудь чушь, сказанную иностранцем о советской России. Выслушав и поверив, этот «русский» бежит, округляя глаза, повторять услышанную чушь своим знакомым.

— Вот, знаете, победы победами, а как там люди живут-то!

А ведь никто так не врет об СССР, как иностранец, поживший полтора дня проездом в Москве.

— Там, знаете, за всеми такая слежка... Выхожу из отеля, а тут человек просит прикурить. Очень странно!

— Чего ж странного? Не было у человека спичек. Вот и все.

— Именно, именно. Значит, у них спичек нет. Народ страдает!

Вспомним о всех тех, кто на два дня останавливался в местном Кэтэй Отеле, а потом, возвратившись на родину, долго и вдохновенно врал о Китае. Проехавши на автомобиле по Бабблинг Велл род, недрогнувшей рукой писал о китайском народе. Печально, что до сих пор эти преступления остаются ненаказуемыми... Но вернемся к иностранцу, проведшему два дня в Москве.

— Он пригласил на коктейль двух русских девушек-гидов, — рассказывал мне один знакомый, —девушки были хорошо одеты и

все такое. Но вот, через какое-то время, одна из девушек смертельно побледнела и, пробормотав какое-то извинение, исчезла...

— Ага, — сказала я, с детства воспитанная на подобных историях, — все ясно. Она, конечно, была шпионкой и ей нужно было сбегать в Чека и донести. А смертельно побледнела она потому, что успела за час влюбиться в иностранца, и ей тяжело было его предавать... Киносценарий: девушка, нервно играющая вилкой. Дальше крупным планом: страдающие глаза, на лице борьба: любовь или долг? Агент Чека, замаскированный под ресторанного скрипача. Грозный знак левым глазом... Крупным планом: левый глаз скрипача. Доверчиво смеющееся лицо иностранца. Кадр из картины: «Olga the spy»*.

— Вы все шутите, — раздраженно перебил меня мой знакомый, — но я правду говорю: девушка побледнела и исчезла!

— Так, — сказала я, — ну и что?

— Как «ну и что?» Очень подозрительно!

— Слушайте, — сказала я, вздохнув, — ну мало ли за какими надобностями человек может исчезнуть? Особенно девушка, не привыкшая к большому числу коктейлей...

— Но вы должны согласиться, что все же это очень подозрительно. Значит, там что-то неладно! Но мало того: этот иностранец из Москвы поехал в Лондон. С ним в купе ехали два советских инженера. Он говорит, что просто был поражен: эти люди выпили за время пути невероятное количество водки.

— Будто вы сами не выпиваете «невероятного количества водки»! Этот ваш иностранный друг видел, как вы сами пьете?

— Нет, но...

— То-то оно и есть, что «но»! Просто человек никогда не видал русских.

— Погодите. Дальше самое интересное. Он предложил этим инженерам плитку шоколада, и знаете что? Они начали есть ее вместе с серебряной бумагой. Значит, они там, в России, никогда не видели шоколада!

— Выходит, что они «там в России» и бумаги в глаза никогда не видали. Так, значит, и ели? Серебряную бумагу?

— Это еще что! Дальше слушайте. На пароходе иностранец угостил их виски. Пароход качало и, естественно, что стаканы ездили по столу. И представьте, советские инженеры очень испугались и начали кричать, что это колдовство, что иностранец хочет их отравить. Видите, значит, они никогда не ездили на пароходе!

— Слушайте, может, вы спутали? Может быть, ваш друг рассказывал не про русских и не про инженеров, а про двух дикарей с острова Лолли-Полли?

---

* The spy — шпионка.

— А когда они приехали в Лондон, — захлебывался мой знакомый, — они купили себе по паре ручных часов и ходили с утра до вечера, прикладывая их к уху. У них в России, оказывается, нет часов!

Я так и не узнала, была ли эта история чистейшей выдумкой или плодом дурачества молодых советских инженеров, «разыгравших иностранца». Но это и не важно. Важно то, что русский человек оказался способен немедленно поверить, что советские инженеры, знакомые с самой передовой в мире техникой, изобретатели и конструкторы самых современных орудий — вели себя как дикари!

А мой знакомый смотрел на меня грустно и молчал. Я тоже грустно молчала. Вдруг он сорвался с места и побежал дальше рассказывать эту идиотскую чушь.

Иногда несут несусветную чепуху про Россию даже неглупые иностранцы, что происходит от глубокого невежества. Впрочем, думается, что теперь, после этой войны, невежества будет меньше.

Мы ничего не знаем о флоре и фауне Венеры. И можем поверить шутливой фразе Гумилева: «На Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья».

Но ведь Россия — не Венера. Это же наша страна, наша родина. И пора, наконец, знать, какого цвета там листья и какого склада там люди.

НЕ РУССКИЕ, НЕ АМЕРИКАНЦЫ

После четырехлетнего перерыва начали приходить печатные издания из Америки. «Нашелся след Тарасов» наших соотечественников и коллег: русских писателей и журналистов в этой стране.

Чем же живут и дышат наши соотечественники?

В САН-ФРАНЦИСКО

С интересом разворачиваем номера русской газеты, издающейся в Сан-Франциско.

Просматриваем объявления: меховщик Теслюк предлагает уважаемым покупателям шубы. Сдается комната. Требуется переводчик. И вот, наконец, объявление о предстоящем бале. На балу будет выступать исполнительница цыганских романсов и какой-то гитарист Яша. На балу будет киоск с крюшоном и непременная лотерея с ценным первым призом: горжеткой.

Ах, эта знакомая горжетка, путешествующая с бала на бал! Ах, эти надоевшие крюшонные киоски, за которыми неизменно восседает Марья Ивановна с большим бюстом! В лотерее можно выиграть престарелую вазу, статуэтку и подушку «с насыпкой»... На балу непременно будет мазурка, которую будут отплясывать бывшие генералы, а молодежь будет глядеть, почтительно улыбаясь. Наизусть знакомые балы, на которых неизменно выступает гитарист Яша, он же балалаечник Костя, про которого так хорошо писал эмигрантский поэт Дон Аминадо:

...Потом выступал балалаечник Костя,
В роскошных штанинах из черного плиса,
И адски разделал «Индийского гостя»,
А «Вниз да по речке» исполнил для биса,
....

Потом появились бояре в кафтанах,
И хор их про Стеньку пропел и утешил.
И это звучало тем более странно,
Что именно Стенька бояр-то и вешал.
....

И что то в тумане дрожало, рябило,
И хором бояре гудели на сцене...
И было приятно, что все это было
Не где-то в Торжке, а в Париже на Сене.

Да, русская колония в Сан-Франциско — упорно цепляется за «русский дух», за балы с крюшонами, за горжетки в лотерее, за мазурки с генералами. Хлопочут дамы-устроительницы. Танцуют барышни в боярских кокошниках. Мотивы этих балов ясны: тоска по родине, воспоминания, вообще — «тени минувшего, счастья уснувшего...»

Но посмотрим, каковы литературные силы газеты.

Вот статья человека с ювелирным именем Леонид Опалов, посвященная поэтессе Лидии Нелидовой-Фивейской.

На эту поэтессу Опалов растратил все хвалебные эпитеты, которыми он располагает. Что делал бы он, если бы в Сан-Франциско, скажем, появился Пушкин?

Но что же, однако, вызвало подобные восторги со стороны г-на Опалова? Вот, например, вирши, которые, по его словам, являются ничем иным, «как ценным вкладом в сокровищницу русской литературы».

Россия-родина, откуда это слово?
Или приснилось все в полузабытом сне,
Иль сказка старая припомнилась мне снова
Что няня старая рассказывала МНЕ?
Россия-родина — забытое названье,
В нем ласка слышится неведомая МНЕ

и т. д., и т. д.

Далее приводится много других стихосплетений все в этом же роде и хуже. Опалов развязно называет их и «чарующе прекрасными», и «магическими», и «изящно-грациозными» (?!). Под конец статьи Опалов сообщает, что поэтесса является женщиной умной и уронила несколько глубоких мыслей относительно искусства. Вот этот «ценный вклад в сокровищницу русской мысли»:

«Нужно стремиться к совершенству формы и содержания. Неправы те, кто отрицает форму. Но прежде всего нужен природный талант. Выучиться быть поэтом невозможно...»

У поэтессы Фивейской слово не расходится с делом и поэтическому искусству она, действительно, не учится. Это заметно, как говорится, невооруженным глазом.

Кроме Опалова с его набором галантерейных фраз и поэтессы Фивейской, есть в газете еще один литературный талант, некая мадам Остренко. Мадам Остренко пишет о богомольной девушке в церкви:

«Ее прекрасное лицо пылало в молитвенном экстазе. Казалось, она забыла весь окружающий мир. Она казалась воплощенным ангелом, слетевшим с неба... и т. д. и т. д.

В конце концов, мадам Остренко, в поисках тончайших эмоций и высокого стиля, дописывается до такой фразы:

«Среди молящихся она отражала светом, как в темную ночь звезды отражают светом в небе» (?!).

Н-да. А ведь произведения мадам Остренко «отражают бездарностью» не в одном только, а в нескольких номерах газеты. Она — постоянный сотрудник, светило русской журналистики в Сан-Франциско!

Видимо, поэтессы Фивейские, Леониды Опаловы и мадам Остренки представляют собою литературную элиту наших соотечественников в С.-Франциско... Страшно за соотечественников!

Переходим к сообщениям о Шанхае.

Местный немецкий пропагандист Клаус Менерт был бы очень удивлен, узнав из вышеупомянутой газеты, что он услан из Шанхая на японском крейсере. Газета сообщает, кроме того, что «в Шанхае с голоду умерла монахиня Анемаиса» (?).

И наконец, мы узнаем из этой русской газеты, что американские военные в Шанхае посещают исключительно дома белых русских эмигрантов. Газета подобострастно сообщает, что американцы вместе с русскими эмигрантами пьют за здоровье президента Трумана, генерала Эйзенхауэра, за китайскую армию и, наконец, за... бывшую русскую армию.

«...Лакейский тон и холопские восторги газеты можно было бы оставить без внимания... Когда ползание на брюхе превращается у людей в привычку, им, в конце концов, все равно становится, чьи пятки лизать, лишь бы лизать...»

Это — тоже из эмигрантской прессы. Так писал в Париже десять лет тому назад эмигрантский публицист Вл. Азов, возмущенный рабским пресмыканием харбинских журналистов перед приехавшим в Харбин «императором Маньчжу-ди Го» — Генри Пу-и.

История повторяется.

Вчера маньчжурский император, сегодня американский офицер.

За 25 лет перед нами прошла длинная портретная галерея очередных друзей, пивших за здоровье русской эмиграции. Нежные симпатии этих друзей к эмигрантам роковым и странным образом совпадали с периодами их вражды или соперничества с Советским Союзом.

Сначала французы. Потом англичане. Затем было время, когда за «бывшую русскую армию» и за эмиграцию пили японские унтеры. И газеты восторженно писали: «Друг русской эмиграции капитан Такахаси вчера в беседе с нашим сотрудником заявил: — Я верю, что перед русской эмиграцией — большое будущее...»

Потом появился немецкий унтер, тоже предсказавший эмиграции «большое будущее».

С чего же теперь русская газета в С.-Франциско с гордостью передает, что американский унтер пьет не за Красную Армию, спасшую мир от немцев, а за «бывшую русскую армию»?

Предположим, что это так. Предположим, что эта (вообще лживая) заметка — правдива, что американцы с друзьями-эмигрантами действительно пьют за бывшую русскую армию. Что доказывает этот факт нашим соотечественникам в Сан-Франциско? Чему они радуются и чем гордятся? Что это? Ставка на очередного унтера?

Со страниц эмигрантской газеты в Сан-Франциско на нас глядит печальная эмигрантская действительность: упрямое цеплянье за прошлое, за балы с горжеткой и преклоненье перед хозяйским мнением очередного унтера.

Впрочем, некоторые наши соотечественники русскими себя уже не считают.

«..Мы даем деньги взаймы безвозвратно, — говорится в передовой, — мы готовы уступить часть островов... мы согласились отдать под контроль государства, которые мы освободили...»

Трудно предположить, что кучка эмигрантов, обосновавшихся в Сан-Франциско, «дает взаймы безвозвратно», «уступает острова» и широким жестом «отдает под контроль государства, которые мы освободили». Ясно, что речь идет об американцах, и что передовик причисляет себя к американцам!

Но к чему же тогда все эти боярские кокошники и цыганские хоры, к чему гитаристы Яши и балалаечники Кости, к чему русские газеты? Если русский человек получил иностранное гражданство — будь гражданином чужой страны! В этом — тяжесть и горечь иностранного паспорта. Будь американцем, воспитывай детей по-американски, вообще «позабудь про камин» — как поется в старинном романсе.

Но нет. Русский человек — хочется ему или не хочется — всегда остается русским. И бессознательно стремясь оставаться русским в условиях эмигрантской действительности, утеряв живую связь с родиной, такой человек будет представлять собой то карикатурное зрелище, какое представляют наши соотечественники в Сан-Франциско: не русские и не американцы.

НЬЮ-ЙОРК

За два года до смерти известный эмигрантский поэт, пушкинист и литературный критик Владислав Ходасевич писал своему другу такие строчки:

«...Я — вроде контуженного. Просидеть на месте больше часу — для меня пытка. Я, понимаешь, стал неразговороспособен. Вот ес-

ли бы я мог прекратить ужасающую профессию эмигрантского писателя — я бы опять стал человеком. Но я ничего не умею делать».

И, действительно, нет ничего страшнее, опустошительней для души, чем эта, заводящая в беспросветный тупик, профессия эмигрантского литератора.

* * *

Так называемый «мозг эмиграции» — известные писатели, журналисты, публицисты — перенесли свою «штаб-квартиру» из Парижа в Нью-Йорк. «Декламация о России и плач об утерянном» несутся теперь из этого американского центра. Декламаторы стали старее. Убелились сединами. Многие уже поумирали. Но «дело борьбы с большевизмом» продолжают оставшиеся в живых.

Оставшиеся физически в живых издают толстый журнал, выходящий раз в три месяца.

Литературное детище покойных парижских «Современных записок» — «Новый журнал» — чистенько издан, написан прекрасным русским языком. Еще бы! Ведь в нем принимают участие такие «генералы от литературы», как Бунин, Алданов, Осоргин, Вишняк. Публицисты «Нового Журнала» — люди, обремененные высокой культурностью. Они запросто употребляют в тексте латинские, немецкие, французские фразы, оставляя их без перевода: читатель подозревается в такой же высокой культурности. Читатель польщен и застывает от почтенья перед мудрыми старцами.

Этот новый журнал ведется по старой доброй традиционной программе эмигрантских журналов:

1) Воспоминания и некрологи.

2) «Открывание глаз» хозяевам-иностранцам на Россию.

Художественно-литературных произведений в журнале немного.

Типичным для них является рассказ «Таня», принадлежащий перу нобелевского лауреата Ив. Бунина, чьи акварельные описания природы всегда вызывали восторги современников. Своей легкой кистью Бунин с прежним умением набрасывает картинки русского розовеющего снега, русского лиловеющего неба, русских чернеющих деревьев. Вообще, в этом рассказе Бунин не отступает от своей прославленной специальности: зима в русской деревне. Розовеющие снега обрамляют тему рассказа: молодой барин последний приезд в родные места ознаменовал тем, что соблазнил горничную...

Соблазненная горничная улыбается сквозь слезы улыбкой, полной любви. Соблазнивший барин, как водится, уже разлюбил. Ему наскучили снег и закат, и танины глаза, и другие простые радости жизни. Он мечтает о Петербурге, шампанском и цыганских хорах!..

Тема о соблазненных горничных и быстро остывающих баринах — весьма не нова. Ее не спасают никакие рамки из снегов и деревьев. Рассказ написан в грозные апокалиптические годы страшной войны. О таких именно годах проникновенно писал Ал. Блок. Но нобелевский лауреат не желает принимать участия в настоящем. Он весь в прошлом. Весь во власти тихой и сладкой грусти об ушедшем. Грусти мертвеца...

М. Алданов печатает свой новый роман «Истоки», написанный с обычным алдановским холодным мастерством. Роман — исторический, из эпохи Александра II и Бисмарка. В романе встречаются очень живо описанные знаменитые современники: Достоевский, Бакунин, Вагнер, Лист. Еще бы не интересно! Но говорить об этом романе рано: он далеко не закончен.

Что еще можно найти в «Новом журнале?» Почти исключительно воспоминания, почти каждая страница говорит об ушедшем.

Актер Мих. Чехов и художник Добужинский вспоминают о Московском Художественном Театре. Об А. П. Чехове вспоминает В. Чернов и д-р Альтшуллер. О д-ре Альтшуллере вспоминает С. В. Панина. Предается воспоминаниям П. Н. Милюков. Воспоминаниям о П. Н Милюкове предается Алданов. М. Вишняк пишет воспоминания о В. Ходасевиче, в свое время прославившемся воспоминаниями о современных ему поэтах. М. О. Цетлин вспоминает о Бальмонте и заодно пишет некролог о Тэффи. Впоследствии выясняется, что с некрологом поторопились: Тэффи жива. Но зато в одном из следующих номеров появляется некролог и воспоминания о торопливом М. О. Цетлине.

О Рахманинове пишут воспоминания сразу несколько человек.

Нежные воспоминания, овеянные лиловой дымкой грусти, пишет М. Осоргин. Кто-то в свою очередь разражается воспоминаниями о М. Осоргине...

Короче говоря: «Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток».

Программа № 1 выполнена на все сто процентов!

Программу № 2 («открывание глаз на Советский Союз») выполняют господа публицисты. Их много. Тут и Г. Федотов, и Д. Далин, и Н. Тимашек и другие.

Здесь надо сказать, что раньше эмигрантские журналисты упрекали советское правительство в «разбазаривании русского имущества» и очень протестовали против утраты Эстонии, Латвии и Литвы. Теперь пошла уж музыка не та. Теперь публицисты упрекают советское правительство в империалистических, захватнических планах.

Одним словом, на почтенных изгнанников никак не угодишь. Почтенным изгнанникам и это плохо и то не хорошо...

За свое дело господа публицисты берутся дружно.

Интеллигентный Г. Федотов, ловко оперируя цитатами из древней истории, задался целью доказать немедленную необходимость «мировой федерации». Тогда не будет наций и, значит, не будет войн. Нельзя, в принципе, не согласиться с интеллигентным господином Федотовым. Мировая федерация вещь хорошая, при условии реального равенства всех рас, наций, племен. Но тут-то господин Федотов и выливает на идеалистов ушат холодной воды: во главе федерации должны, оказывается, стоять... англосаксонские державы.

В другой статье Г. Федотов утверждает, что строй Советского Союза подходит лишь для «вчерашних рабов». Для «евразийцев». А для культурных наций, вроде англосаксов со всеми их «магнахартами» и «хабеус корпусами», строй этот никак не подойдет. Им, следовательно, подходит лишь старый добрый капитализм?

В третьей статье господин Федотов проявляет поистине железную логику. Он пишет, что «умаление и удушение свободы» в СССР неизменно возрастает. Через две странницы автор статьи делится с читателем интересным наблюдением: на «советском роботе» начали проступать «человеческие черты». И оказывается, что советскому человеку были свойственны дружба, любовь к женщине и любовь к родине и «тогда, КОГДА ОНИ БЫЛИ ЗАПРЕТНЫМИ». Но если, по Федотову, раньше эти чувства были запретными, а теперь нет, то откуда же возрастающее «умаление и удушение свободы»?!

Почтенная редакция журнала, потрясенная логикой своего сотрудника, спешит нервно оговориться (перед его четвертой статьей), что она «не может согласиться со всеми положениями блестящей статьи Г. Федотова» (?!?). Нам же непонятно, почему эта статья не только печатается, но даже называется «блестящей», ибо местами талантливый публицист вряд ли сам знает, что он хочет сказать. Он тверд лишь в одном: он ненавидит Россию — прошлую, настоящую и будущую. Об этом кричит каждая строчка, написанная им о России. Категоричны лишь следующие его утверждения: «социальный остов» оказался устойчивым из всех стран — только у Франции! И затем: необходимо создать Союз Двух (Англии и Америки), изолировать Советский Союз («довольно этих союзов тигров с ягнятами») и мир пойдет к расцвету под водительством двух англосаксонских стран. Далее, впрочем, автор с грустью замечает, что у этих двух наций, призванных руководить миром, и дома-то не все слава Богу. И Америка определенно стоит, по мнению Федотова, «перед лицом социальной реформы или перед гражданской войной».

Что же тогда, спросим мы, должна делать Америка: сначала устанавливать порядок во всем мире, а потом уже у себя дома? Или наоборот: сначала привести в порядок свои собственные домашние дела, а потом уже заняться мировыми? Это так и остается не-

выясненным. Оговорка недоумевающей редакции — вполне объяснима.

Некоторые мысли эмигрантского публициста Федотова поразительно совпадают с некоторыми мыслями господина Черчилля, с которыми американский народ, мягко выражаясь, не согласился. Но Федотову, видно, и не нужно согласие американского народа.

Зато его энергично поддерживает Д. Далин. Свое «благородное и патриотическое дело» (открывание глаз на Советский Союз) Далин ведет не только на русском языке, но и на английском. Нам сообщают, что на этом языке у Далина имеется целая книга, где он, вразумительно подняв перст, предупреждает о «третьей мировой войне». Те же песни и в русских статьях Далина.

Война, по его мнению, «совершенно неизбежна». Потому что, глядите, как империалистически настроена Россия. И Далин с подкупающим патриотизмом советует для предотвращения войны создать некий санитарный кордон против СССР, не брезгуя помощью разбитой Германии, которую, оказывается, следует поднять и вооружить для этой благородной цели (!!).

Н. Тимашев, не отставая от других, тоже занимается вопросом «советского империализма». Англия не империалистична... Америка тоже нет. Эти страны просто хотят обеспечить себя от нападений. А вот Россия — империалистична — громко заявляют из Нью-Йорка эти верные сыны своего отечества.

Но оставим этих русских патриотов. Пускай зарабатывают деньги как умеют, подобострастно улыбаясь американцам. Вчера улыбались французам. Завтра, быть может, придется улыбаться испанцам. Кто знает? Эмигрант — что лист, носимый ветром.

Как ни удивительно, этим улюлюкающим «открывателям глаз» как бы отвечает... А. Ф. Керенский. В своей статье «О границах и о прочем» он пишет:

«...После бесчисленного количества нападений и вторжений, в течение ее долгой и трагической истории, Россия должна быть, наконец, обеспечена от угрозы нового нападения со стороны коалиции каких бы то ни было держав. В этом праведная, справедливая цель России в этой войне. Эта цель оборонительная и восстановительная».

Ссылаясь далее на географическое положение России, «государства чисто континентального, приковывающего к себе взоры всех очередных кандидатов в мировые владыки», — он совершенно правильно и честно утверждает, что «России нужна не третья война, а прочная гарантия для мирной жизни на многие десятилетия».

Этого стремления подойти к вопросу честно у остальных публицистов не наблюдается.

Впрочем, откуда им быть честными, когда и с самими собой они не до конца честны. Их главная болезнь — неумение взглянуть на самих себя, понять, чем они были и чем стали. Осталась лишь бле-

стящая форма, но творческая сила вконец иссякла. Да и не мудрено! О чем писать? Об этом «тупике тем» эмигрантских литераторов еще в 1934 году говорил Илья Эренбург: «Мережковский пишет об эротике древних египтян. Бунин — о довоенной России, Алданов — о походах Суворова. Поэты эмиграции, как будто ничего и не приключилось, пишут о нежной любви, о сумерках и о традиционной поэтической печали».

С тех пор прошло долгих двенадцать дет. Но картина осталась прежней. Прибавился лишь ворох воспоминаний и некрологов.

Да, тупик! Об этом тупике кричал и Ходасевич в своем письме, и Георгий Иванов в своих стихах, и Тэффи в своих рассказах. Но эмигрантские журналисты ищут оправданий своему (неизменно заводящему в тупик) пребыванию за границей где-то вовне, в каких-то «ошибках» советского правительства. Найдут новую «ошибку» — и на душе легче. Вот, мол, поэтому я и в эмиграции, поэтому жизнь моя погибла и талант завял, — не по моей вине, а по вине обстоятельств непреодолимых!

Между строчками этих литераторов сквозит гордая уверенность, что «они лучше». Что слишком они, видите ли, хороши, высоки для того, чтобы принять свою родину. Сатанинская гордость, неумение взглянуть за пределы своего больного, микроскопического мирка, обиженность на судьбу — все это проскальзывает в каждой строке. Ведь автор всегда обнаруживает свою сущность в собственных писаниях. Многие из этих стариков играли какую-то роль в прежней России. Им все еще мерещится, что они «знатоки России». Им все еще кажется, что они способны «объяснить Россию». Они не чувствуют, что объясняют-то они уже не Россию, а что-то свое, вымученное, персональное, потому что любить и понимать что-то вне своей персоны они давно уже разучились.

Берлинские эмигранты в свое время также пытались объяснить Россию... Гитлеру. Кончилось все это скверно и для объяснявших и для Гитлера, потому что никак не было связано с действительностью, — с живой, новой, народной Россией.

* * *

Прав покойный Ходасевич. Страшная вещь быть эмигрантским журналистом. «От своего куда уйти? Вне своего чужое», — писал когда-то В. Розанов.

Эти люди, употребляющие благородную писательскую профессию не на пользу родной стране, а во зло ей, в общем очень несчастны. Как несчастен был Ходасевич. Как несчастны Дон Аминадо и Тэффи, «юморески» которых способны скорее вызвать слезы, чем смех.

СМЕНА ПОРТРЕТОВ

— Зи тэйбл, — говорила она терпеливым и монотонным голосом, — зи тэйбл. Зи чэр. Зи тэйбл. Зи чэр.

— Дзы тэйбл. Дзы чэр, — повторял ученик. — Чэр это стул, значит? Чэр. Чэр.

Потом она молча и вопросительно указывала на стол. Ученик начинал беспомощно моргать и тереть лоб.

— Как его? Черт! Вот сейчас помнил. А, дьявол! Ну еще на «т»... Ах!

Это повторялось за каждым уроком. Она знала, что еще через неделю этот пожилой, богатый человек, владелец нескольких домов и магазинов, скажет ей:

— Н-да. Поздновато, выходит, мне за изучение иностранного языка браться! Голова не в ту сторону работает. Придется нам, Софья Павловна, это дело бросить.

И придется бросить. А рассчитывая на этот новый урок, она собиралась взять на выплату меховую шубу. Значит, шубу тоже придется бросить. И ходить в старом пальто с собачьим воротником.

Уроки — тяжелый и неверный труд. Сегодня есть, завтра нет. Ученики так часто бывают тупы, непонятливы. Да, но зато связи. В ее маленькой комнатке висели портреты двух крупных деятелей Гоминдана с личными надписями. Оба были ее учениками. У нее занимались немецкий, датский, японский консула. От всех были портреты с личными надписями. Но развесить все портреты — просто не хватало стен. Маленькая комната Софьи Павловны сплошь была увешана фотографиями. На письменном столе стояли карточки ее братьев, оставшихся в России, и снимки дома с белыми колоннами, окруженного кудрявыми деревьями. Это был ее дом в деревне, откуда она бежала в лунную летнюю ночь... Хотя говорили, что это просто «крестьянский бунт» и через две недели все уляжется, но она захватила с собой фотографии и кое-какие драгоценности. Что-то ей говорило, что никогда больше она не увидит этого дома и тихой речки, и кудрявых деревьев, и дороги, бегущей мимо оврага. И действительно, никогда больше она не увидела всего этого, так же как и своей петербургской комнаты, снимок с уголка которой тоже стоял у нее на столе: кожаное уютное кресло и старинная лампа под круглым абажуром.

Вечером, после уроков, Софья Павловна читала, полулежа на кушетке и держа в руке с кольцами, французский роман в желтой обложке. Эти французские романы напоминали ей молодость и петербургскую гостиную. Иногда приходила приятельница Анна Дмитриевна и тогда они пили чай и жаловались на учеников, а, главное, вспоминали:

— Лили Червадзе... Ну, Боже мой, вы должны помнить Лили! Она училась в нашей гимназии... Потом она вышла замуж за этого, как его... за барона... еще такая длинная фамилия... Ну да, ну да, за барона Гагенхаузена.

— Ах, конечно, помню! У нее еще тетка была бывшая фрейлина, такая строгая старуха, прошлого века...

— Именно, именно! Старая дева, княжна... опять забыла фамилию. Но с этой теткой такие анекдоты бывали. Ухаживал за Лили один правовед...

Такие разговоры длились часами. Глаза приятельниц горели молодым огнем, за окном падал снег на деревянный забор и на харбинские, булыжником мощеные улицы... На круглом столе с плюшевой скатертью лежали французские романы в желтых обложках, лампа под зеленым абажуром бросала ровный свет на чашки с недопитым чаем, на корзиночку с печеньем, и этот уголок напоминал петербургскую гостиную с кожаными креслами. Диссонанс вносили только портреты, висевшие на стене: портреты крупных гоминдановских деятелей с чужими узкими глазами.

Насчет портретов первой сообразила Анна Дмитриевна. Когда город заняли японцы, она прибежала к Софье Павловне на другой же день, вечером.

— Вы с ума сошли, — говорила она, указывая на портреты, — их совершенно не время сейчас держать в комнате. У вас есть портреты каких-нибудь важных японцев? Бывшего японского консула? Ну вот видите! Я сегодня с утра уже развесила. У меня фотография одного крупного японца с личной надписью.

Портреты китайцев были запрятаны на самое дно сундука.

— Может быть, сжечь? — неуверенно говорила Софья Павловна.

— Не нужно, — отвечала практичная Анна Дмитриевна, — они еще могут пригодиться. Не навеки же японцы здесь засели!

Жизнь стала труднее. Японцы платили за уроки гроши, были тупы, непонятливы.

— Стору. Стуру, — говорил ученик, — стору.

И на лице его отражалось напряжение.

Анна Дмитриевна устроилась в школу учительницей и в праздники вместе с другими преподавателями низко кланялась висевшему в зале портрету «императора Пу-и». Вечером прибегала к Софье Павловне и жаловалась шепотом:

— Платят гроши, жалованье задерживают... Какие-то гимнастические упражнения для учителей ввели. Я человек немолодой, у меня сердце... Не могу я бегать наперегонки. Да и перед ученицами неловко. К тому же эти идиотские церемонии с поклонением портрету! Впрочем, это чепуха. Мы, в конце концов, здесь гости. Сегодня одним хозяевам приходиться кланяться, завтра другим...

В Шанхае друзья сказали Софье Павловне:

— Послушайте, почему у вас эти японские хари над столом висят? Здесь японцы не в фаворе.

— Ах, Боже мой, какая я рассеянная! — говорила Софья Павловна, моргая близорукими беспомощными глазами, — я же хотела портреты китайцев повесить и вот перепутала...

Потом у Софьи Павловны появились новые портреты: фотографии двух малокровных девочек — детей крупного служащего французского муниципалитета, и портрет жены какого-то важного лица из французской трамвайной компании.

Анна Дмитриевна, которая приехала в Шанхай несколькими месяцами позже, смеясь, говорила:

— Ну вот, вы пошли по французской линии, а я по английской.

Анна Дмитриевна устроилась учительницей в английскую муниципальную школу.

По вечерам они по-прежнему часто сходились в маленькой комнатке Софьи Павловны, где на плюшевой скатерти лежали романы в желтой обложке, и опять говорили о Лили Червадзе и о ее тетке, бывшей фрейлине, и о том, что Арсеньевы закопали серебро под курятником, когда бежали, и что, можете себе представить, Коко со своим отрядом несколькими днями позже захватил эту деревушку, серебро откопали, и оно до сих пор цело у Арсеньевых! Лампа под зеленым абажуром бросала ровный свет на круглые чашки; синим, зеленым, лиловым светом вспыхивал на пальце Софьи Павловны последний непроданный бриллиант. Диссонансом в этот почти уголок Петербурга врывался лишь грубый женский голос, кричавший на лестнице:

— А кто за ими свет будет закрывать? Лакеев нет за кажным бегать!

Софья Павловна вздрагивала от отвращенья. Анна Дмитриевна продолжала ворковать о Коко и о серебре, делая вид, что не слышит. На улице поднимался ветер и в стекло жалобно стучали вырезные листья тропической пальмы.

Когда город оккупировали японцы, опять пришлось менять портреты на стенах. Анна Дмитриевна советовала на всякий случай снять со стены портрет служащего британского консульства — одного из учеников Софьи Павловны.

— Сегодня приходится одним хозяевам кланяться, завтра другим, — повторяла Анна Дмитриевна. — Мы люди беззащитные.

В школе, где работала Анна Дмитриевна, с новыми хозяевами завелись новые порядки. Теперь школа была в ведении японцев.

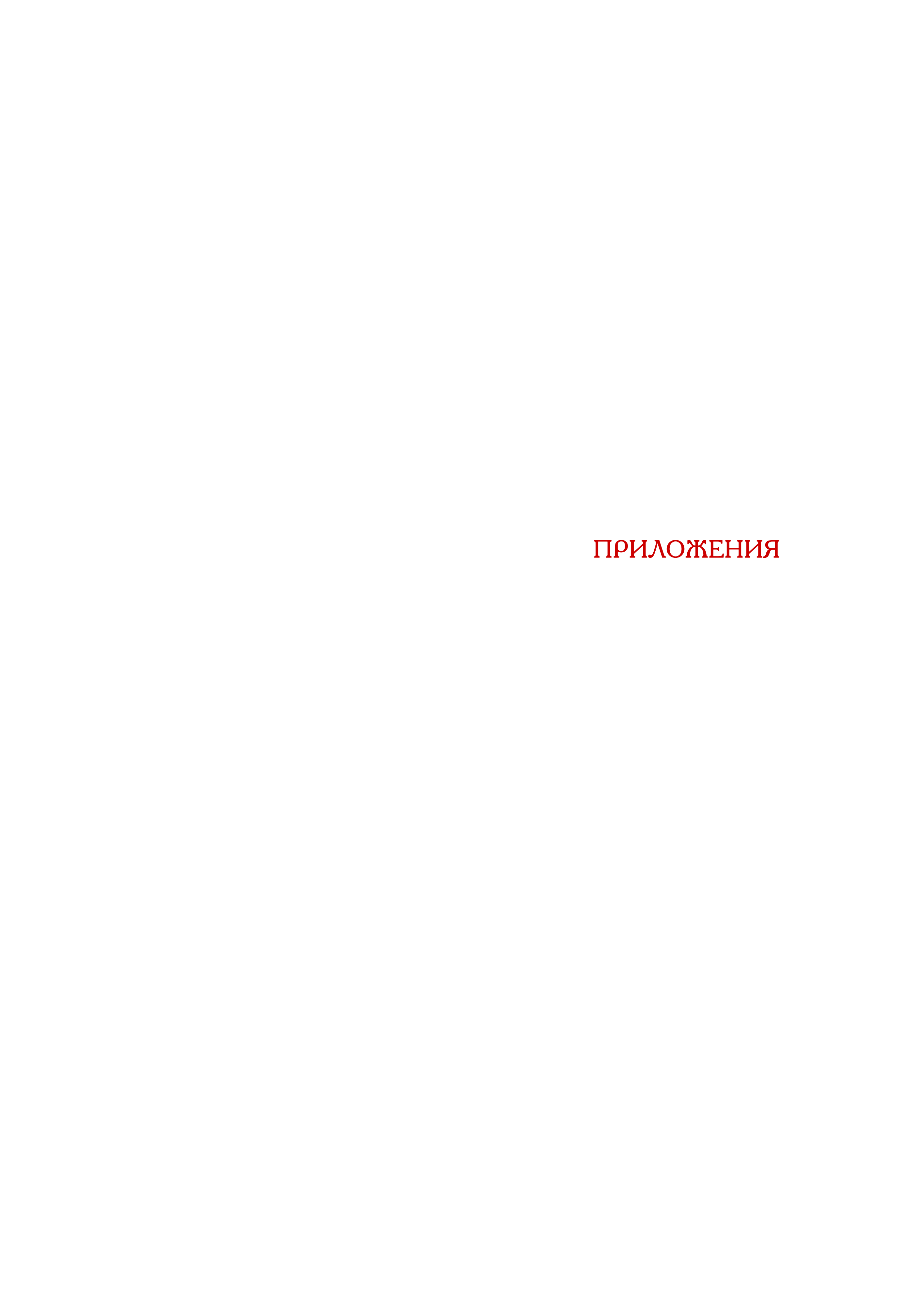
— Заставляют нас учить японский язык, — рассказывала, прибегая, Анна Дмитриевна, — я человек немолодой, куда на старости дет начинать! Скоро дойдем до поклонов портретам каких-нибудь там императоров. А знаете, милочка, мне сегодня мадам Павлюк сказала, что нас, эмигрантов, возможно, всех выселят в Нантао. Французская концессия самим японцам нужна.

Иногда, после длинного рабочего дня, после бесконечного калейдоскопа лиц учеников, с одинаковой настойчивостью повторявших чужие слова, Софья Павловна долго не могла заснуть. В стекло жалобно бились листья пальмы. Софья Павловна вспоминала все слухи, слышанные за сегодняшний день и, хотя чувствовала, что большинство из них ерунда, но все ж пугалась: а вдруг правда? За долгие годы привыкли кланяться то одним хозяевам, то другим, а у разных хозяев были разные нравы и повадки. За долгие годы привыкли к своей беззащитности, привыкли бояться верить слухам... Сегодня наверху французы, немцы, японцы. Завтра — китайцы, англичане, американцы.

Софья Павловна закрывала глаза, и перед ней опять бесконечным калейдоскопом мчались лица учеников и двигающиеся рты, повторявшие незнакомые слова. Завтра придет Анна Дмитриевна, и, пожаловавшись на дороговизну, на учеников, на жизнь вообще, они снова начнут вспоминать балы в морском корпусе и училище правоведения, и Лили Червадзе, и анекдоты с ее теткой — бывшей фрейлиной. В жизни этих одиноких старых женщин с бесконечной сменой портретов и хозяев, в их шаткой жизни, где не было ничего твердого, своего, а было все неверное, чужое, зависящее от каждой перемены ветра, — и от этого наполненной страхом и слухами, — воспоминания о навсегда ушедшем были нужны, как наркотик.

Этими воспоминаниями о прежнем «блеске» они поддерживали в себе чувство собственного достоинства, и чем больше унижений и щелчков приходилось переносить в настоящем, с тем большей страстностью они погружались в прошедшее.

Своими близорукими глазами они не умели разглядеть иного.



ПРИЛОЖЕНИЯ

МИСС ПЭН

На третий, что ли, день моего приезда в Шанхай я явилась в редакцию газеты «Шанхайская заря». Главного редактора, Льва Валентиновича Арнольдова, моя мать знала молодым журналистом в Харбине двадцатых годов и написала ему письмо, спрашивая, нет ли возможности пристроить меня в газету.

Это была, разумеется, эмигрантская газета, как и большинство изданий на русском языке, выходивших в городах Дальнего Востока. Среди изданий этих были такие, которые материально поддерживались иностранцами, — газеты «Харбинское время» в Харбине и «Русь» в Шанхае субсидировались, например, японцами. Насколько мне известно, газеты и журналы, организованные Лембичем, и в том числе «Шанхайская заря», субсидий не получали, были изданиями коммерческими: не было в Шанхае эмигрантского магазина, ресторана, конторы, аптеки, врача, нотариуса, которые не рекламировались бы в «Шанхайской заре»... Газета существовала давно, считалась солидной, была, пожалуй, наиболее популярной среди шанхайских русских, поэтому и иностранные фирмы не брезговали рекламировать там свои товары. Дешевый труд китайцев-наборщиков и сотрудников-эмигрантов давал возможность издателям не только сводить концы с концами, но и доход получать...

Меня не тревожила мысль о том, что я стремлюсь попасть в сотрудники эмигрантского издания.

Я тянулась к России, рассказы Катерины Ивановны о Москве волновали меня, и время от времени я упрекала мать: зачем мы уехали? Живут же там люди! Им трудно? Будто нам здесь легко! Зато там они среди своих, а мы тут пришлые, никому не нужные. Мать всерьез меня не принимала, до споров не снисходила: ей было хорошо известно мое невежество.

В самом деле: спроси меня тогда, какие революционные партии существовали в моем отечестве, что представляла собой Февральская революция и чем отличалась от нее Октябрьская — на эти вопросы я ответить бы не смогла. Меня тянуло к России, но о том, что там происходит, я не имела почти никакого понятия. А выросла я среди людей, которые не принимали, не признавали того, что в современной России происходит, и этот взгляд на вещи был мне привычен, время подвергнуть его сомнению для меня еще не настало, желания разобраться самой, отрешась от привычного, еще не возникло. Оно, желание это, возникнет позже, возникнет скоро, а в тот декабрьский день 1936 года, когда я впервые переступила порог «Шанхайской зари», соображения о том, что я собираюсь сотрудничать в эмигрантской газете, меня, повторяю, не тревожили. Тревожило другое. А вдруг ничего не выйдет и Арнольдов, главный редактор, не даст мне возможности устроиться в газету, получить хоть какой-то заработок...

Тревога моя была вполне основательной... Штатные места с фиксированным жалованьем разобраны давно, репортеры же работали на сдельной, построчной оплате. Уголовная и городская хроника, рецензии на концерты и спектакли, интервью с заезжими знаменитостями — все эти отделы имели постоянных авторов. Они между собою вечно грызлись,

однако при виде нового человека, покушавшегося на место в газетной полосе, мгновенно и дружно объединялись, близко не подходи, а попробуешь — убить могут! Именно такое впечатление сложилось у меня однажды вечером, когда я, сопровождаемая Арнольдовым, впервые вошла в репортерскую. Грохотали сразу пять пишущих машинок, при нашем появлении смолкли, Арнольдов представил меня, я увидела пять пар вспыхнувших ненавистью глаз, мы вышли, машинки застучали вновь с удвоенной, яростной силой, и было чувство, будто нам в спины пущена пулеметная очередь...

Арнольдов был таким же служащим, как все; как все, зависел от издателей, но эти «все» ненавидели не только Кауфмана, не только «мадам», но заодно и Арнольдова. То ли за то, что он, как редактор и бессменный автор передовиц, зарабатывал лучше других. То ли за его барственные повадки, любовь к чтению нотаций, восторженное отношение к иностранцам и членство во Французском клубе, куда эмигрантов допускали не так уж охотно...

Арнольдов жил неподалеку от редакции, являлся туда несколько раз в день и неизменно в полночь — проглядеть, подписать последние полосы. Шел по коридору своей гусиной походкой, развернув ступни, заглядывал в репортерскую — невысокий, лысый, голубоглазый, с уютным брюшком, в пухлой, женской руке сигара. Бело-розовый и выхоленный, он одевался на иностранный манер — пиджаки из рыжего твида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты... А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало: только что с банкета! В этой прокуренной, с грязными стенами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдов снисходительным взглядом, окидывал репортеров в их кургузых пиджаках, произносил: «Ну-с, ну-с, трудитесь!» — и исчезал, оставив после себя запахи сигары, одеколона, иногда чего-то приятно-алкогольного. Арнольдова начинали поносить, едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортеров... Интеллигентная дама средних лет, знающая иностранные языки (брала интервью и писала рецензии), и вполне малограмотный уголовный репортер в обычное время терпеть друг друга не могли, но в эти ночные часы, ругая Арнольдова, проявляли полное, почти любовное единодушие: ненависть — великая объединяющая сила...

В этих поношениях я участия не принимала, в мою сторону косились враждебно, и я знала — стоит мне выйти за дверь, будут ругать и меня. Уже пришлось однажды слышать, как интеллигентная дама, едва я вышла из комнаты, громко кого-то спросила, понимая, что я услышу ее слова: «Интересно, с какой целью Левка сунул к нам эту бездарную девчонку?»

Арнольдов был холостяком, делил квартиру со своей матерью, к женщинам был равнодушен, и лишь этот общеизвестный, часто с глумлением обсуждавшийся факт спасал меня от позорных подозрений, что я, собственным, так сказать, телом заплатила редактору за возможность проникнуть на газетные полосы... Убеждена, что репортерам полегчало бы от этого объяснения, — оно было бы так понятно, просто, общедоступно, человечно, — но, увы, к данному случаю не подходило никак, и

оказываемое мне Арнольдовым покровительство терзало сотрудников газеты своей загадочностью...

В тот декабрьский день, когда я впервые переступила порог арнольдовского всегда темного кабинета (единственное окно — в стену соседнего дома), главный редактор, сидя за своим столом у зеленой лампы, освещавшей гранки, сырые полосы и прочие бумаги, задумчиво глядел на меня, держа сигару над пепельницей... Он уже сообщил мне: штатных мест нет, возможности работать построчно тоже нет, — а я не уходила, надеялась на что-то...

В Шанхае я остановилась у некоей Анечки М., переселившейся сюда лет пять назад, а до этого жившей в Харбине и бравшей уроки английского языка у моей матери. Мать была счастлива, когда в ответ на ее письмо пришло Анечкино согласие разделить со мной комнату в пансионе. Матери казалось, что под крылышком Анечки, такой серьезной, работящей, положительной и не слишком юной (лет под тридцать), я не пропаду... Хозяйкой пансиона (комнаты сдавались с обедами) была женщина средних лет с типичной биографией хозяек шанхайских эмигрантских пансионов: в молодые годы работала в баре, нашла себе там иностранного «покровителя», а позже, выйдя в тираж, на скопленные деньги купила квартиру и стала сдавать комнаты. Комнат было пять или шесть, их снимали мелкие служащие и девушки из баров, хозяйка весь день ходила в халате и прокуренным голосом давала советы... О конторской работе в Шанхае нечего и мечтать, это лет пять назад еще можно было на такое надеяться, а сейчас — что вы! Город наводнен харбинцами, и они все едут, все едут... И надо быть очень осторожной: по городу шныряют торговцы «живым товаром», обманом увозят провинциальных дур в Гонконг или в Манилу и там продают в публичные дома...

После оцепеневшего в тисках японской оккупации Харбина Шанхай оглушил и ослепил меня многолюдьем, автомобилями, яркостью вывесок, богатством витрин, многоэтажностью современных, доселе мною не виденных зданий... В пансионе я успела наслушаться и хозяйкиных предупреждений, и телефонных разговоров, ведущихся на ломаном английском языке девушками из баров со своими возлюбленными, и чьих-то рыданий за стеной... Только двое жильцов (Анечка и билетный контролер, работавший в Трамвайной компании) уходили утром на службу, а другие обитатели пансиона — три молодые женщины — спали до полудня, затем бродили в халатах, вялые, непричесанные, бледные, к вечеру же преображались, красились, пудрились, надевали меховые накидки поверх длинных платьев, становились молодыми, красивыми и исчезали. В окно я однажды видела, как одна из них, освещенная лампой подъезда, ежилась от сырого зимнего ветра, а затем, остановив пробегавшего рикшу, долго усаживалась в его коляску, стараясь не измять, не испачкать подол длинного платья (подобрала его, разложила на коленях), и вот уже головы и плеч ее не видно (идет дождь, над коляской поднят брезент), и рикша рванул с места, побежал, закачался брезент, а я подумала мрачно: «В пролеты улиц вас умчал авто...»

Арнольдов бывал в нашем доме в начале двадцатых годов, я смутно его помнила, но он, знавший моих родителей, видевший нас с сестрой маленькими девочками, он в те минуты казался мне пристанищем, прибежищем, спасением, не хотелось уходить из его кабинета, от стола, заваленного бумагами... Здесь делалось дело знакомое, привычное — мать

и работая в школе связи с газетами не теряла, то переводила, то писала рецензии, я часто заходила в редакции с ее поручениями, и сейчас запах типографской краски, исходивший от сырых полос, казался мне чрезвычайно родным и единственно понятным в этом чужом, пугающем городе.

Газетного опыта у меня, разумеется, не было никакого. Но это не смущало ни мать, написавшую письмо, ни Арнольдова, презрительно считавшего, что с хроникерскими заметками справится каждый, ни меня. Мне бы лишь зацепиться, мне бы ногу поставить, а я все смогу, а чего не умею прикажите — научусь!

Внезапно Арнольдов промолвил, что газете не хватает только одного: юмористического пера. «Шанхайская заря» перепечатывает из парижских газет то Тэффи, то Дон Аминадо, то еще кого-то... А хотелось бы иметь фельетониста на темы местные... Он отделаться от меня рассчитывал, от моих устремленных на него с мольбой и надеждой глаз, но отделаться ему не удалось. Напротив. Я оживилась и сообщила, что именно фельетоны писать я могу. Не только отчаянье толкнуло меня на это нескромное заявление. Я и в самом деле писала фельетоны, этакие юморески из жизни нашего класса в школьный рукописный журнал. Арнольдов удивился: «Смело, смело! Хотите сразу начинать с верхнего этажа?» Добавил наставительным тоном, что фельетонист должен обладать особой жилкой, с которой рождаются и приобрести которую не помогут ни опыт, ни образование, ни даже писательский дар... Затем сделал еще одну попытку от меня отвязаться: «Ну, если уж вы так храбры, напишите что-нибудь на пробу. Допустим, о вашем путешествии из Харбина в Шанхай, о ваших спутниках, их надеждах, о первых впечатлениях от нашего “желтого Вавилона”»...

Вскоре я вновь появилась в редакции, Арнольдова не застала, оставила на его имя мною написанное... Надеялась, что он мне позвонит, но звонка не последовало. Шли дни. Я ходила по иностранным конторам, предлагая свои услуги в качестве машинистки, было стыдно возвращаться в пансион ни с чем, хозяйка все убеждала меня пойти работать в бар, но Анечка, уважавшая мою мать, была против. Анечка советовала мне попробовать свои силы в качестве сборщицы объявлений: фиксированного жалованья нет, платят проценты, но некоторым удается прилично зарабатывать...

Вечерами я долго не могла уснуть, все считала, сколько у меня осталось денег и что будет, когда они кончатся. На соседней кровати мирно спала Анечка. Она работала на мелкой технической должности в мощной американской фирме «Шанхай пауэр компани» — 75 долларов в месяц, этого и на пансион хватает, и одеться можно. Утром она вливается в толпу служащих, атакующих трамваи и автобусы, ах, как бы мне хотелось тоже туда в влиться, и чем Анечка лучше меня, ей просто повезло, она вовремя в Шанхай приехала... Белые кружевные воротнички, белые ручки, ноготки, покрытые бледно-розовым лаком, голубоглазая, длинноносая, скучная, глубоко положительная. Мне бы любить ее, быть ей благодарной (ведь приютила!), а я не люблю, что-то в ней постоянно раздражает меня, это низко, скверно, это, видимо, зависть...

Неприязнь моя к Анечке, как я теперь понимаю, объяснялась чрезвычайной несхожестью наших натур. Анечка убеждена была (и справедливо!), что я не сделаю карьеры в качестве служащей иностранной

конторы, а значит, ни на что путное не гожусь. Под взглядом Анечки я чувствовала себя нескладной, неловкой, ощущала свою неполноценность, отсюда и нелюбовь моя к ней, ибо не всегда ли наше отношение к окружающим зависит от того, какими глазами они видят нас?

Никто не звонил мне, прошло уже дней десять, я простилась с мечтой о газете, когда однажды хозяйка пансиона протянула мне «Шанхайскую зарю»: «Какая-то мисс Пэн тут пишет, как она из Харбина ехала... Ну в точности все, как вы нам рассказывали, и про старушку, что к сыну едет, и про качку на пароходе, и про...» Я выхватила газету. Я увидела знакомые слова, знакомые фразы, написанные мной, мной, мной. Не поверила глазам. Но сомнений не было: это написала я, я, я! Почему же «мисс Пэн»? Догадалась: это псевдоним, придуманный мне Арнольдовым. Впервые в жизни я видела свои слова, набранные типографским шрифтом, — незабываемые минуты! Голосом неверным от радостного волненья я сообщила хозяйке, что мисс Пэн — это я! Впечатления никакого. Выпустила из ноздрей дым. «Неужели? Да. Между прочим. Милочка говорит, что у них в "Аркадии" девчонка одна из бара то ли совсем ушла, то ли захворала. В общем, когда Милочка проснется, вы ее расспросите!»

Середина дня. Анечка на службе, девочки из баров еще спали, бодрствовали лишь мы с хозяйкой. Я уединилась с газетой в нашу с Анечкой комнату. Читала. Перечитывала. В этой комнате рожденное, моим почерком написанное, домашнее, любительское в газете преобразилось, приняло иной, серьезно-профессиональный вид, звучало иначе, звучало прекрасно... Как мило! Как остроумно! И это написала я, я, я! Мама обрадуется! Но что-то неприятное, что-то скребло? А, да! Хозяйка и Милочка из «Аркадии». Это чтоб я пошла за стойку, разливать пьяным коктейли? С ума сошли! Не понимают, с кем имеют дело. Меня напечатали!

Я позвонила Арнольдову. Он сказал веселым голосом: «А! Прочитали! Поздравляю! Слушайте, а жилка-то у вас есть, штука, между прочим, редкая, я удивлен. Как псевдоним? Понравился? (Обмякнув от счастья, я пробормотала, что понравился. Назови он меня как угодно, мне бы все понравилось!) Мама хочет с вами познакомиться, так что прошу ко мне завтра в час дня».

Я завтракала у Арнольдова. Познакомилась с мамой: полная, низенькая, седая и чернобровая старушка с живыми глазами. Мать обожала «Левушку», сын платил ей тем же. И мама, и сын хвалили меня. «Очень, очень мило!» говорила мама. «Фельетонист из вас получится, думаю — не ошибаюсь!» говорил сын. «Левушка никогда не ошибается!» — восклицала мама. Было мне сказано, что «Левушка» постарается убедить издателей печатать мои фельетоны регулярно, скажем, раз в неделю. Еще было сказано, чтобы я продолжала искать работу, на газетный заработок не проживешь. Но я смутно восприняла это предупреждение... Был слякотный шанхайский январь, путь мой лежал через прекрасную улицу Кардинал Мерсье: справа белое здание Французского клуба и забор сада, напротив многоэтажный отель «Катей Меншэнс», к нему лепится целый квартал одинаковых одноэтажных строений — магазины одежды, косметики, галантереи с манящими витринами. Катились по асфальту машины, трусцой бежали рикши, дамы в мехах входили в магазины,

этот город уже не пугал меня. Вкусно накормленная, осыпанная похвалами, я была бодра, верила в себя, шагалось весело...

По коридору пансиона бродили из ванной и обратно вялые, недавно пробудившиеся «милочки», хозяйка на кухне распекала повара, я с нетерпением ожидала возвращения из конторы Анечки — мечтала ей похвастаться, сообщить, что у меня есть «жилка», что я завтракала у редактора, буду писать в газете... Я помнила, что произведение мое, накануне вечером подсунутое Анечке, было принято ею холодно... Она читала, я жадно впивалась в нее взглядом — на бледном личике ни тени улыбки, ни признака оживления, будто перед ней не фельетон, а телефонный справочник или расписание поездов... Это пугало меня, мне мерещилось, что лицо Анечки — зеркало, в котором отразились бесцветность и скука мною написанного, я пала духом, подозревала Арнольдова в побуждениях благотворительных — напечатал из жалости, из уважения к моей матери... Но сегодня, после редакторских похвал, обласканная редакторской мамой, сегодня я в себе не сомневалась! Это в Анечке с ее беленькими воротничками, светлыми кудерьками и тонким голоском — это в ней сидит скука, скука непробиваемая! Не зеркало — стена! Но именно Анечке, относившейся ко мне покровительственно и немного свысока, именно ей хотелось разъяснить, что я не идиотка, нет, я способная, я, оказывается, писать могу, и сам редактор... Это я и взялась ей внушать в тот вечер, на ходу теряя оживление и уверенность, увядая под ее снисходительно-недоверчивым взглядом...

Невысокое обо мне мнение Анечки не изменилось и позже, когда фельетоны мои с того января 1937 года стали регулярно появляться на страницах «Шанхайской зари». Те полгода, что нам оставалось жить бок о бок, Анечка читала мои произведения, настойчиво ей подсовываемые (почему я так хлопотала о ее одобрении?), читала с тем же равнодушием, серьезно к трудам моим не относилась, считала (и намекала), что я занимаюсь чепухой, в игрушки играю, на песке строю.

И по-своему была права. «Фельетонная жилка» в условиях эмигрантского существования не сулила мне никаких материальных благ. Арнольдов не мог добиться даже того, чтобы фельетоны оплачивались выше, чем хроникерские заметки. Я, впрочем, скоро поняла, что не Арнольдов был главным, после издателей, лицом в газете, а управляющий конторой Тепляков, известный среди репортеров под кличкой «Женькин цепной пес» или, короче, «Пес».

Контора — центральное, самое просторное помещение редакции — перегорожена прилавком, над ним решетки, в решетке три окошка. У окошек женщины, принимавшие плату за объявления и подписку и выдававшие гонорар сотрудникам. В левой стене комнаты (до решетки) дверь в кабинет ответственного секретаря, в задней стене (за решеткой) дверь, ведущая в «святая святых», в кабинет издателей, и рядом письменный стол Теплякова, как бы дверь охраняющего... Ведущая роль в редакции, принадлежавшая этому плотному, крупному господину средних лет, объяснялась тем, что «Шанхайская заря» — предприятие чисто коммерческое, существующее на объявления. Политика и та была тут подчинена коммерции. Помню, как я, идучи к Арнольдову, так и не вошла к нему, замерла в коридорчике, услыхав за дверью голоса... Тепляков кричал на редактора. Он-де в передовице поддерживал правительство Чили, а один из постоянных клиентов газеты недавно прогорел на

торговле чилийской селитрой и теперь обиделся и не желает платить за объявление! Арнольдов что-то униженно бормотал в свое оправдание... Когда мы, мелкие сотрудники, пробегали через контору в комнату ответственного секретаря, Тепляков косился на нас из-за решетки вполглаза, как, вероятно, косился бы из клетки лев цезаря Нерона на мимо шмыгнувшую мышь... Мы цепенели под этим взглядом, а позже в репортерской для поддержания своего достоинства мрачно острили, что место Теплякова именно за решеткой!

Платили нам не за строчки, за инчи, и почему-то по конторскому счету «инчей» получалось меньше, чем рассчитывали мы... Иногда вместо денег нам пытались всучить талоны на получение товара в прогоревший магазин, задолжавший газете...

Работать в эмигрантском учреждении — только время терять, права была Анечка! В почтенной же иностранной фирме трудом, терпением, настойчивостью можно сделать карьеру, а уж если очень повезет, то устроить и личную жизнь, встретив одинокого иностранца, который оценит все твои положительные качества, включая сюда и девичью честь, сбереженную среди соблазнов и искушений «желтого Вавилона»... Это не говоря о том, что в иностранных фирмах есть законы, охраняющие интересы служащих, даже мелких, даже беспаспортных, а в предприятиях эмигрантских полный произвол... После августа 1937 года (начало японо-китайской войны) началась инфляция, цены росли, на иностранцах, получавших зарплату в своей валюте, это не отражалось, отражалось на китайцах, на эмигрантах, однако тем, кто служил в иностранных фирмах, жалованье прибавляли, мы же в «Шанхайской заре» получали те же построчные, точнее — «поинчевые». Однажды, возмущенные, полные сознания своей правоты, мы вломились в кабинет Кауфмана, откуда минут через десять вышли гуськом, понурыми овцами, не глядя друг на друга... Ибо Кауфман, дав нам высказаться, — причем один его глаз глядел вроде бы сочувственно, а другой был устремлен в потолок, сказал печально и задушевно: «Боже ж мой, да разве я спорю? Я ж вас понимаю! Но я никого не держу. Ищите что-нибудь получше, а мы поищем других сотрудников! (Оживляясь.) И знаете? Найдем! Завтра же найдем!»

Даже в счастливые времена, когда мне удавалось захватывать чужие строки (кто-то захворал, кто-то запил), заработков моих едва хватало на оплату жилья. Но никто не мог жить на построчные. У интеллигентной дамы был муж, работавший администратором кинотеатра, репортеры уголовной и городской хроники тоже имели какие-то приработки на стороне.

По утрам я бегала собирать объявления для рекламного американского журнала и, не проявив к этому делу никаких способностей, ни одного объявления не достала, пробегала даром. Устроилась в только что открытую контору по экспорту китайской щетины, целых два месяца отстукивала на английской машинке циркулярные письма, было лето, от монотонности работы и от жары клонило в сон, но я считала, что мне безумно повезло: обещали платить пятьдесят долларов в месяц, вместе с построчными и на комнату хватит, и на еду, и даже, размечтавшись, я прикидывала, что хватит и на новые туфли... Но мои работодатели (китаец и русский эмигрант) оказались жуликами, контору открыли для отвода глаз, никакой щетины у них не было, однажды они исчезли, ни

копейки не заплатив мне за второй месяц... Какое-то время удалось поработать манекенщицей в салоне дамских нарядов некоей «мадам Элен». Салон вскоре прогорел, и мадам Элен скрылась от долгов в Гонконг, не заплатив ни мне, ни двум другим манекенщицам... Эмигрантский иллюстрированный журнал «Прожектор» нанял меня «шрофом» — собирать деньги с подписчиков, а также с врачей, нотариусов и мелких эмигрантских лавчонок, рекламировавшихся в журнале. С этим я справлялась, это не объявления собирать — убеждать, врать, льстить и, будучи выгнанной в дверь, вновь появляться в окне. «Шрофом» быть проще: молча суешь счет. Тебе, конечно, не рады. Заставляют ждать в передней. Иногда говорят: «Зайдите завтра!» или «Через неделю!». За утреннюю беготню и ожидание в передних «Прожектор» платил мне доллар в день.

Вечерами я стучала на машинке в прокуренной репортерской «Шанхайской зари». Писала я в те годы легко, вспомнить странно. Вокруг шум — спорят о чем-то репортеры, носится из линотипной и обратно суетливый рябой ответственный секретарь, истерично выкрикивая: «Господа! Не задерживайте! Линотиписты ждут!» Окна и дверь репортерской выходили на «крышу» — так назывался широкий выступ над первым этажом здания, огороженный низкими перилами и служивший сотрудникам балконом. На ту же «крышу» выходила и линотипная, куда постоянно бегал ответственный секретарь, и стоило ему отворить дверь, как в нее врывались музыка и хоровое пение: непосредственно против редакции находился ресторан «Ренессанс», где пели цыгане, где выступал Вертинский.

Но ничто не мешало мне. Шум, гром, споры, пение, а я стучу себе в уголке на машинке, посмеиваясь собственным шуткам. Недостатка в темах не было, годилось все: теснота в трамваях, разговоры в китайских лавках (смесь англо-китайских слов), и дворы, и дети, и улицы... Мои сменяющиеся работы позволили мне быстро вникнуть в быт эмигрантского населения, в его заботы, тревоги, беды, радости, надежды, разочарования... Строго говоря, писала я очерки, бытовые картинки, зарисовки, однако их принадлежность к жанру фельетона оправдывалась иронической манерой изложения. Один из фельетонов, обративший на себя внимание Вертинского (с чего и пошли наши добрые отношения), был посвящен вундеркиндам и их тщеславным родителям и начинался так: «Кто-то сказал: с годами “вундер” становится все меньше, а “кинд” все больше».

Знакомство с Вертинским ввело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы...

На иностранных концессиях города не было, кажется, ни одного ночного заведения, где бы не работали русские эмигранты в самых разнообразных ролях: швейцары, официанты, музыканты, цыганские хоры, «бармены», «баргерлс», «дансинг-герлс» (партнерши для танцев, которых называли также «такси-герлс»), акробаты, танцоры, танцовщицы... Они почему-то неизменно выдавали себя за иностранцев (мексиканцы, испанцы, норвежцы, шведы) и брали соответствующие псевдонимы. Это явление было, видимо, повсеместным, ибо эмигрантский парижский поэт Дон Аминадо с мрачным юмором советовал: "Называйтесь бразильцами, греками, но ни слова о том, что вы русские!»

<...>

Был у меня фельетон «Ночная Авеню Жоффр». Некая Люся из своей жалкой чердачной комнаты с протекающим потолком идет на работу в кабаре. Там гримируется, переодевается и становится мексиканской плясуньей Лолой ди Дуарец. Возвращается домой под утро, трамваи уже не ходят, дождь, и из открытых до утра кабаков гремит модная в те годы песня: «И если жизнь на жизнь помножу, то ноль в итоге получу...»

Начавшаяся известность в кругу местной эмигрантской интеллигенции не только тешила мое тщеславие, но и поддерживала, помогая стойко переносить все ожидания в передних, и то, как мы с двумя другими манекенщицами, толкаясь плечами, переодевались в ванной комнате «салона дамских нарядов» под шипение «мадам Элен» («Не запачкайте, не сомните!»), и унижения, которым подвергал вечно нас обсчитывающий Тепляков, и многое другое... И уже не так, как прежде, терзало меня чувство неполноценности, испытываемое в присутствии Анечки и других здравомыслящих людей ее типа... Нет, ничто не могло меня заставить бросить мое малоприбыльное занятие, столкнуть меня с пути, который, между прочим, и привел меня к этой машинке, к этому столу, в этот дом, где я пишу сейчас то, что пишу.

***

<...> Некая Алла Г. решила выпускать маленькую еженедельную газету рекламно-информационного типа. Такого рода бюллетень, пестрящий объявлениями, издавал в Шанхае один американский журналист и, чтобы привлечь подписчиков, печатал в своей газетке анекдоты, юморески и другое развлекательное чтение. Его примеру думала последовать Алла — за этим-то я ей и понадобилась.

Коротко знакома с Аллой я не была, но то, что знала о ней, внушало уважение. В любую погоду она бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для нескольких газет и журналов сразу, а могла бы ничего не делать, дома сидеть — ее мать вторым браком была замужем за вполне состоятельным англичанином. Когда отчима перевели в Гонконг, Алла не пожелала следовать туда за ним и своей матерью. Уезжающие оставили ей какую-то сумму, чтобы она, как это водилось, смогла открыть «свое дело».

В те годы в Шанхае каждый мог издавать что ему вздумается, было бы на что, а разрешение у полиций обеих концессий достать было легко... Существовало немало частных типографий, бравших столько-то долларов за печатание страницы и вдобавок предоставляющих в своем помещении комнатушку, где можно было править гранки, делать расклейку материала для верстки и даже принимать посетителей.

...Терзавшие меня в Харбине проклятые вопросы (как жить? что с собой делать?) в начале моей шанхайской жизни, несмотря на трудности и неустроенность, меня не мучили. Я знала, что мне делать, я нашла себя. То, что за свой труд я получала гроши и приходилось вечно искать добавочные заработки, казалось в порядке вещей. В Париже тех лет известные писатели, крупные журналисты, сделавшие себе имя еще в России, жили чуть не впроголодь, это не говоря уже о молодых, начинающих... Выматывала, раздражала вечная борьба с Тепляковым. Возвраща-

ли фельетон: «Не пойдет. Вы тут смеетесь над конферансье. А недавно на вечере конферировал известный фотограф...» — «Да я не о нем! Я — вообще!» — «Может принять на свой счет, а он наш рекламодатель. Тепляков велел снять, все!» Уж раз «Женькин пес» велел снять, это и в самом деле все!

Смеяться не разрешалось ни над кем, ни над чем. Везде рекламодатели, которые могут обидеться. Если хотите издеваться, идите на советский фильм, ругайте его. А вот этого-то мне как раз и не хотелось.

Сильное впечатление, производимое на меня советскими фильмами, не зависело ни от режиссеров, ни от актеров, ни от содержания. Стоило мне услыхать русскую речь, увидеть русские пейзажи — я начинала плакать... К решительному шагу, к переходу в советский лагерь (в Шанхае существовал «Союз возвращенцев»), я готова еще не была... Попав в «Шанхайскую зарю», я очутилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений — все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным: «...и совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней...». Один из эмигрантских поэтов говорил, что становится «неразговороспособен», ибо нет на свете более безнадежного и душу опустошающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет... Этих слов я не знала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти. Куда — не знала.

Подвернулась Алла, и я радостно кинулась в несуществующую газетку, которая могла прогореть и лопнуть через месяц, совсем как «Гардения»! Вся коммерческая сторона на Алле, я же должна была заполнять своими писаниями свободное от объявлений место будущего рекламного издания. Мы решили: никакой политики! Задача: развлекать и увеселять читателя. Как именно — на мое усмотрение.

Была у меня в те годы приятельница Ирина С., русская, жена американца. В ранней молодости занималась журналистикой, писала стихи, бывала у моей матери — та любила покровительствовать юным дарованиям. Наша с Ириной разница в возрасте (четыре года) была тогда неодолима — семнадцатилетнему с тринадцатилетним общего языка не найти. Но вот мы встретились в Шанхае, друг другу обрадовались, подружились. Ирина была наполнена, насыщена, пропитана русской литературой. В ее чтении я впервые узнала поэму Андрея Белого «Первое свидание» и стихи Пастернака. Она же научила меня любить Чехова — до тех пор он был мне чужд. И конечно, возникла у нас (так же как и с Вертинским!) игра в «откуда это?».

Трехкомнатная квартира, детей нет, хозяйственных забот тоже (бой и повар), обеспеченность полная, живи в свое удовольствие, живи как все шанхайские иностранные дамы — утренняя прогулка с собакой, магазины, в час завтрак, затем загородный клуб. Там бридж, там маджан, туда после работы приезжает муж, легкая выпивка, затем домой обедать, после чего каждый сидит в своем кресле, муж отдыхает, читая журналы или детективы, жена тоже читает или вяжет — телевизоров ведь тогда еще не существовало...

Монотонность жизни нарушается коктейлями, зваными обедами, зваными (дамскими) чаями... Кроме того, при клубе и гольф, и теннисный корт, и бассейн. Чем не жизнь?

А Ирина изнывала от скуки и бросилась на меня, как голодный на хлеб. В иностранном обществе, ее окружавшем, друзей себе не находила, хотя, вероятно, были там люди вполне образованные. Неглупым человеком, все понимавшим в своем инженерном ремесле, был Иринин муж Томми.

Но вот с иностранцами ей было скучно, а со мной, в те годы существом весьма невежественным, со мной ей скучно не было. Почему же? А потому, полагаю, что «Зима, крестьянин, торжествуя...», «По небу полуночи ангел летел...», «Все врут календари...», «На холмах Грузии...» и многое, многое другое, не говоря уж об именах собственных (Ноздрев, Онегин, Фома Опискин), никаких ассоциаций у иностранцев не вызывали, они росли, складывались в чем-то совсем ином, своем.

Ирина с восторгом приняла участие в «Шанхайском базаре» — помощь неоценимая: одаренный литератор отдавал нам свое перо бесплатно. Ирине не деньги, а занятие было необходимо. Отныне занята она была выше головы.

Мы печатали «Базар» в типографии, принадлежавшей китайцу. Старый дом в глубине двора восточной, «бедной» части авеню Жоффр, тут же помещалась какая-то харчевня, и красивая Ирина, шествовавшая в своих туалетах и шляпках по грязному и чадному двору, вызывала изумление окружающих...

Писали мы каждая у себя (я взяла напрокат машинку), затем сходились в отведенной нам хозяином комнатушке — голые стены, два-три расшатанных стула. Правили гранки, верстали, придумывали заголовки для отделов, куда шли иронические заметки без подписи: «В этой маленькой корзинке...», «Букашки, мошки, таракашки...». У Ирины были псевдонимы: «Елизавет Воробей» и «Рени» — для фельетонов, «Ник. Зарубин» — для статей. У меня — «мисс Пэн», «Зинаида Булкина» и «Топси». Завели «Страницу женщины» — моды, косметика, прически, как обставить квартиру, как удержать любимого человека, — переводили туда статейки из американских дамских журналов. Вообще поначалу все было тихо, невинно — вполне безобидная рекламная газетка с развлекательным чтением на пристойно-культурном уровне. Но ни Иринин, ни мой темперамент не позволили нам удержаться в этих рамках. Мы начали подкусывать, подкалывать то эмигрантские балы с их крюшонами, кокошниками и лотереями, то концерты с любительскими сопрано и пошлыми шутками конферансье... Отменили «Страницу женщины» и вместо нее завели отдел «В литературном отчаяньи», куда писали ехидные рецензии на рассказы и романы шанхайских литераторов и уличали в малограмотности репортеров...

Эмигрантская печать, сперва величаво и презрительно нашего издания не замечавшая, встрепенулась... Появилась статейка «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...». «Девицам» советовали «чесать языки келейно, а не в печати» — не их, дескать, женское дело... В другой газете нас окрестили «базарными торговками». Худшее было впереди.

Французская полиция, в «политическом отделе» которой служили несколько пожилых эмигрантов, под явным нажимом последних запретила нам выпуск очередного номера за «натравливание одной части населения на другую». Эмигрантская пресса радостно сообщила об этом своим читателям в таких выражениях: «...приостановлен выпуск полушантажного листка непечатного свойства...», «...нарушительницам основных

норм журналистской этики запрещен выпуск очередного номера!». Зато американская газета «Шанхай Ивнинг Пост энд Меркури» написала так: «Выход "Шанхайского базара", популярного русского еженедельника без политической ориентации, приостановлен французской полицией в наказание за критику выступления одной из газет, издающихся на русском языке».

Тут многое верно. К тому времени «Шанхайский базар», этакий веселый и злой журнальчик, в самом деле стал популярен: росло число подписчиков, расхватывалась розница, взмыленная Алла все чаще врывалась в типографию с радостным известием о новом объявлении... Одно неверно: на «третьем пути» сбалансировать нам не удалось, без политической ориентации мы не обошлись, лицо издания к моменту его закрытия вполне определилось.

Нападение Германии на СССР и реакция на это событие ряда эмигрантских организаций — вот что послужило толчком, изменившим лицо газеты. У меня не сохранилось статьи, за которую нас наказали, в памяти осталась лишь первая фраза, ну, скажем, прямо, не слишком корректная: «Свиное рыло высунулось и хрюкнуло!» Таков был наш отклик на опубликование в эмигрантской печати совместного заявления нескольких организаций («Союз монархистов», «Союз инвалидов» и еще какие-то «союзы») об их готовности сражаться на стороне немцев за «освобождение России».

Нас лишили возможности выпустить один номер, и он не вышел, а следующий вышел. Потеря номера оказалась ничтожной платой за те выгоды, которые нам принесла необдуманная мера французской полиции. Злорадные крики эмигрантской печати и упоминание «Базара» в печати иностранной — лучшей рекламы и придумать было нельзя! Посыпались читательские письма, нашу позицию поддерживающие, и среди них письмо Вертинского... (С первого дня Отечественной войны шанхайские эмигранты разделились на «пораженцев» и «оборонцев» —последних было значительно больше.) И наконец, мы приобрели трех прекрасных сотрудников, присоединившихся к нам из чистого энтузиазма: З. Казакова, Вс. Н. Иванов и А. Вертинский.

Бывшая драматическая актриса Казакова (псевдоним «Алексей Лохмотьев») вполне квалифицированно и очень едко освещала театральную жизнь Шанхая. Вс. Н. Иванов писал статьи и фельетоны (псевдонимы «Н. Игнатьев» и «Княгиня Мягкая»). Вертинский вел «Почтовый ящик» («Нострадамус») и отделы «В своем углу» и «Про все» — их подписывал собственным именем.

Это была уже иная газета, ничем не напоминавшая тот непритязательный, задуманный Аллой рекламный бюллетень. Мы выходили теперь с постоянным эпиграфом из Некрасова: «Шить на мертвых нетрудное дело, нам желательно шить на живых!» Мы занимали ярко выраженную оборонческую позицию и уже не только развлекали читателя, но и призывали его кое над чем задуматься...

Мастер застольных бесед, шуток, анекдотов, импровизаций — их-то Вертинский у нас и публиковал. В напечатанном виде, лишенные интонаций, игры лица, жестов, рассказики эти много теряли, но вполне годились как приятно-развлекательное чтение. В «Почтовом ящике», который мы, по примеру «Сатирикона», стремились давать в каждый номер, Вертинский юмористически отвечал на им же самим придуманные

читательские письма и произведения. Случалось, «Нострадамус» подводил нас: материал пора сдавать в набор, а «Почтового ящика» нет! Я бросалась искать Вертинского, а где найдешь его утром? Только в «Ренессансе». Но уж если там его нет, задерживай номер, жди допоздна, лови своего автора там, где он ночью поет, и кидайся на него с упреками, мольбами... «Дорогая, клянусь —забыл! Пусть номер выйдет без меня, мир не обрушится». — «Обрушится! — кричала я, нажимая на педаль лести, безотказно действующую на Вертинского. — Вы же знаете, как читатель вас любит, вас ждет! Ну, Александр Николаевич!»

Однажды он написал «Почтовый ящик» в перерывах между своими выступлениями карандашом на нескольких бумажных салфетках — дело происходило в маленьком кабачке «Шехеразада» (джаз, полутьма, танцующие пары, бродящий луч лилово-синего прожектора), а потом с этими салфетками в сумке я шла домой пустынными ночными улицами... Забавно было бы эти салфетки сохранить, но я ведь вечно все выбрасывала! Если б не мать, у меня и «Шанхайского базара» сейчас бы не было, любопытной газетки, моего детища, переходного этапа жизни моей. Сбереженные матерью пожелтевшие номера этой газеты (уже последнего периода ее существования) я отдала переплести, иногда их перелистываю, там на каждой странице пестро мелькают объявления: «“Лосьон Телл-ми” для очищения нежной кожи...», «Где хорошо кормят? Где приятно потанцевать? Ну конечно, в “Аркадии”!», «Косметика помогает, гигиена завершает: антисептическое средство “Гоменол солюбл”...», «Марлен Дитрих, Франческа Гааль, Ольга Чехова одевались в салоне дамских нарядов “Олд Бонд Стрит”...». И многочисленные псевдонимы малочисленных сотрудников там мелькают, и прошлое проходит предо мной... Я вновь вижу чадный двор у харчевни, комнатушку при типографии, и гранки на столе, и то, как мы с Ириной их правим, а затем, расположив на чистом листе, клеим и с помощью метранпажа выбираем шрифты, и врывается сияющая Алла — ей удалось достать объявление у самой «Шанхай пауэр компани» (холодильники, электроплитки, утюги), его необходимо поставить на первую страницу, да, и только на первую, но мы ее уже сверстали, к черту вашу верстку, ведь всемирно известная фирма, дали пока на пробу, обещают подписать контракт на три месяца, это же деньги, вы что, шутите?

И без коммерции нам не удалось обойтись!

Я перелистываю подшивку, и прошлое проходит предо мной, и я снова вижу полутемный утренний зал «Ренессанса», моют пол, ходят кошки. Вертинский за столиком в углу хмуро пишет свои веселые мелочи для отдела «Про все», а я терпеливо жду.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПАПКИ

...Я наткнулась на конверт с моими шанхайскими фельетонами, освобождая от бумаг секретер матери после ее кончины, бросила в чемодан вместе с другими папками, общими тетрадями... Удосужилась разобраться лет через пять (конверт не трогала, что там, мне было известно и глубоко не интересно). А недавно понадобилось извлечь с антресолей одну из папок, конверт вывалился, упал, часть вырезок рассыпалась, я стала затискивать все обратно, одним из невлезающих фельетонов зачиталась... Так и читала, сидя на полу, иногда смеялась. Бытовые зарисовки эмигрантской жизни в Шанхае. Неумело, развязно, но попадались строчки.

...Эмигранты в Шанхае делились на бедных и богатых. Некоторые, попав сюда еще в начале 20-х годов, служили в крупных иностранных фирмах (Таможня, Пауэр компани, Мобил-Ойл и др.). Другие, те, кто обладал коммерческим складом ума, открывали «свое дело» — магазины, ателье, парикмахерские, аптеки, ночные клубы, рестораны — и, бывало, процветали. Богатые жили в «апартаментах», бедные — в «террасах» (ударение на первом слоге), дешевых домах, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга в грязных китайских дворах. Предприимчивые эмигранты сдавали в таком доме комнаты с обедами, это называлось бординг-хауз.

Газета «Шанхайский базар», в которой я тогда работала, этот убогий быт летописала, разнося по веселым рубрикам.

«В ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ КОРЗИНКЕ. Осатаневшие от алчности хозяева бордингов прекратили подачу горячей воды. А некоторые троглодиты выключили и холодную воду. Разрешают только иногда вымыть руки. Так что нам делать? Бань в Шанхае нет. Бассейны в клубах не всем доступны. Сначала просто набавляли на комнаты, теперь запретили мыться. А также — есть (то есть питаться вне жилища). Нужно ли добавлять, что кормят чуть ли не отбросами.

МОДА. Самый модный аксессуар к туалету — небольшая вещичка, по форме напоминающая гирю. Кожаный мешочек помещается в кармане (сумок больше, как известно, не носят). Гирей, зашитой в конце мешочка, бьют нападающего по лбу.

КРАЖИ. Хозяин после перебранки с женой вывел собачку. Вернулся — ничего на нем не было, кроме попонки, которой он стыдливо прикрывался. Закрадывается страшное подозрение: уж не была ли собачка наводчицей?

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ. Вместо “как поживаете?” — “что едите и чем моетесь?” Курильщики: “Попробуйте мою дрянь”. “А вы мою. Интересно, чья хуже”.

МЫ ПРИДИРАЕМСЯ. Если сотрудник “Шанхайской зари” принимается за цитаты, неизменно получается конфуз. То он выдает стихи Крандиевской за стихи Ахматовой, то вкладывает слова чеховской Дашеньки (“Они хочут свою образованность показать, а потому всегда говорят о непонятном”) в уста телеграфиста. По счастью, чеховского же. Читатель все сожрет — так, видимо, решили репортеры “Зари”. Привязывается и цепляется лишь “Шанхайский базар”, которому до всего есть дело.

ПОДСЛУШАННЫЙ ДИАЛОГ. “Много русской молодежи подали на советский паспорт”. “Это не русская молодежь. Это рабская молодежь”. “Видимо, они предпочитают быть рабами собственной страны, а не какой-нибудь другой”.

ЖИЗНЬ ТРУЩОБНАЯ. Весна. Открываются окна. Жизнь соседей и двора врывается в вашу комнату. Порют ребенка. Какое свинство бить детей. Из окна напротив звуки танго “Чаша страданий”. Внизу визгливый голос: “Как за комнату платить, так нечем, а как женщин к себе водить, так есть на что. И небось не каких-нибудь, а сорокарублевых!”

— Откуда вы знаете? — возмущается хриплый баритон.— Вы что, видели, как я платил?

— У меня глаз наметанный,— визжит хозяйка,— я пятирублевую от сорокарублевой всегда отличу!

В ШАНХАЕ АМЕРИКАНЦЫ. В доме сегодня радостный переполох. Приехал сын соседской прислуги, амы (бывший прачка, а теперь педикэбщик), и с восторгом показывал всем американский доллар. Он заработал его, как рассказывала жена бывшего инженера, а теперь шофера, всего за двадцать минут.

И приехал поделиться радостью с матушкой.

Старуха, соседская ама, всегда много о себе думала, а теперь к ней прямо не подступиться. С тех пор как ее сын не бегает больше с утюгами, она перестала мести общую лестницу и вообще стала всех презирать. Единственно, кого милует, это соседку снизу, бывшую учительницу, а теперь кельнершу.

Успехи бывшего прачки взбунтовали всех боев, которые хором грозятся уйти в педикэбщики.

ЧЕРНАЯ ЛИХОРАДКА. Диалоги в кафе “Диди” (А. Вертинский).

Они сходятся к десяти. Быстрые, взволнованные, решительные.

— Мылом интересуетесь?

— Нет.

— Есть бюстгальтеры.

— Не надо.

— А виски?

— Да мне ничего не надо.

— Как это ничего? Что, вам пару тысяч заработка мешают?

— Да, видите ли, я не коммерсант.

— А вы думаете, я коммерсант? Я же парикмахер. Я ж вас в субботу брил.

— Помню. Вас зовут Муня.
— Вот-вот. Чем же вы интересуетесь?
— Бытом.
— Быт? Что это? Можно достать. Сколько вам надо? Подождите здесь. Приведу одного человека. У него все есть. Мои пятнадцать процентов. О'кей?»

Шанхай, конец 30-х годов. Бог ты мой, что делалось в мире, а я занималась этой забавной чепухой. К политике была глуха совершенно. Все помыслы были направлены к одному — не пропасть. На авеню Жоффр бродит сумасшедшая нищенка, русская, что-то напевает. В Шанхае полно нищих, это китайцы, но попадаются и русские, в этом полуколониальном городе они «роняют престиж белого человека», их вылавливают, но они появляются снова, и снова поет на авеню Жоффр сумасшедшая, говорят, ее обманом продали в публичный дом, она оттуда сбежала. Издали заслышав надтреснутый голос («Шери, ты надень свое белое платье...»), перехожу на другую сторону.

ОБ АВТОРЕ



ИЛЬИНА, НАТАЛИЯ ИОСИФОВНА (1914–1994), русский писатель. Родилась 6 (19) мая 1914 в Петербурге в семье потомков старинного дворянского рода (по материнской линии — семья Воейковых, о выдающихся представителях которой Ильина написала в мемуарной книге *Дороги и судьбы*, 1985); интерес к русской и мировой культуре впитала с детских лет от матери — высокообразованной женщины, выпускницы Высших женских («Бестужевских») курсов. Отец (до Цусимского поражения морской офицер, затем – артиллерист) воевал в Белой Армии; по его инициативе семья в 1920 переехала в Харбин. Нелегкую жизнь в нестабильной Маньчжурии русских эмигрантов (среди которых были видные литераторы А. И. Несмелов, Вс. Н. Иванов, С. Я. Алымов, С. Г. Петров-Скиталец, Н. В. Устрялов и др. — друзья дома Ильиных), с их непреходящей тоской по России, непрактичностью, зависимостью и внутренними раздорами, Ильина позднее описала в ряде мемуарно-беллетристических произведений.

В 1932–1936 Ильина — вольнослушательница ориентального факультета Харбинского института ориентальных и коммерческих наук, с конца 1936 — в Шанхае. Выступала в эмигрантской газете «Шанхайская заря» с фельетонами под псевдонимом Мисс Пэн, организовала русский сатирический еженедельник «Шанхайский базар» (выходил до конца 1941), с начала Великой Отечественной войны отчетливо обнаруживший просоветскую ориентацию. С конца 1941 Ильина сотрудничала с ТАСС, публиковала фельетоны и очерки в эмигрантской просоветской газете

«Новая жизнь» (собраны в кн. *Иными глазами: Очерки шанхайской жизни*, 1946), налаживала связи с «Союзом возвращения». В 1947, не без влияния поступка своего давнего шанхайского знакомого, поэта, композитора и певца А. Н. Вертинского, в 1943 вернувшегося на родину, вместе с группой репатриантов возвратилась в СССР.

Жила сначала в Казани, в 1948–1953, учась на заочном отделении Литературного института им. А. М. Горького, в Подмосковье. С 1950 регулярно печаталась (фельетоны, пародии, сатирические заметки и рецензии в журналах «Крокодил», «Новый мир» и др.). Автобиографический роман *Возвращение* (ч. 1 — 1957; ч. 2 — 1965) принес писательнице широкую известность. Новизна тематики (первое в советской печати изображение эмигрантской жизни «русского» Харбина и Шанхая), искренность тона, точность конкретно-исторических деталей, живость психологических зарисовок, тонкий, всепроникающий, всегда окрашенный легкой грустью юмор, динамика мировоззренческих оценок, в т. ч. в отношении СССР – от эйфорических надежд на общество справедливости к разочарованию и печально-язвительному недоумению, ясный и чистый язык, а также в немалой степени обаятельный и трогательный образ самой рассказчицы определили почетное место этого произведения в русской мемуаристике во второй половине 20 в.

Автор мемуарных книг *Судьбы: Из давних встреч* (1980), *Дороги и судьбы: Автобиографическая проза* (1985), повести об известном ученом-филологе, муже Ильиной, А. А. Реформатском, воспоминаний о работе в журнале «Новый мир» с А. Т. Твардовским (*Мои продолжительные уроки*. — Огонек, 1988, № 17), многочисленных сборников сатирических миниатюр (*Внимание: опасность!: Литературные фельетоны и пародии*, 1960; *Не надо оваций*!, 1964; *Что-то тут не клеится*, 1968; *Тут все написано*, 1971; *Светящееся табло: Фельетоны разных лет*, 1974; *Белогорская крепость: Сатирическая проза*. 1955–1985, 1989) и литературно-критических работ (в т.ч. статьи *К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» (Опыт литературоведческого анализа)*, 1963; *Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»)*, 1969; *Плоды просвещения, или Власть тьмы,* 1990), отличающихся острокритической наблюдательностью, прицельной точностью иронического, порою саркастического слова, свежестью и остротой мысли, направленной против всех форм тоталитарного, нивелирующего и унижающего образа бытия: от обусловленных им житейских неурядиц до конъюнктурно-бюрократических нравов литературной среды.

Умерла Ильина в Москве 12 января 1994.

Книга «Иными глазами» публикуется по шанхайскому изданию 1946 г. с исправлением опечаток, устаревшей пунктуации и написания некоторых слов. Иллюстрации — из оригинального издания 1946 г.

Отрывки, озаглавленные нами «Мисс Пэн», взяты из мемуарной книги Н. Ильиной «Дороги и судьбы», впервые изданной в 1985 г. Отрывок «Из последней папки» — из одноименной публикации в журнале «Октябрь» (№ 6, 2000. Публ. В. Жобер. Предисл., подг. текста, прим. М. Тимофеевой). Биография Н. И. Ильиной приведена по энциклопедии «Кругосвет».

ОГЛАВЛЕНИЕ